

для современной буржуазной историографии, — отрицание закономерностей исторического развития. „Судьба империй зависит от невесомых случайностей“, — пишет П. Губер (стр. 97). В этих словах антинаучные принципы порочных построений историка-иезуита, стремящегося исказить исторический процесс, сформулированы с откровенным цинизмом.

Не имея возможности подвергнуть подробному рассмотрению остальное содержание четырех томов журнала, считаем необходимым в заключение отметить некоторые характерные особенности не затронутых нами в настоящем обзоре материалов, помещенных в этих томах. Это прежде всего подчеркнутый интерес к религиозно-церковной тематике; современные буржуазные ученые, игнорируя историю народных масс, проявляют, напротив, пристальное внимание к жизни и деятельности самых второстепенных представителей византийской церкви, занимаясь составлением списков и классификацией христианских „мучеников“ и „святых“ (С. Салавиль) и т. д.

Нам уже приходилось указывать на мелочность и незначительность тематики подавляющего большинства статей, помещенных в „Byzantion“. Прогрессирующая деградация современного буржуазного византиноведения особенно резко проявилась в последних — XIX и в XX — томах журнала, материалы которых поражают своей калейдоскопичностью и незначительностью поставленных в них вопросов. В этих томах можно найти и „научные“ размышления об историческом значении перенесения останков св. Лазаря с острова Кипра в Византию и о культе св. Григория в Боснии и скрупулезный анализ таких „существенных“ вопросов, как история покупки ворот константинопольской св. Софии и т. д., — вплоть до отдающих глубоким маразмом изысканий об александрийской коллегии вылавливателей прокаженных. Зато здесь совершенно отсутствуют исследования по сколько-нибудь действительно важным вопросам византийской истории. Последние томы „Byzantion“ а — свидетельство полного оскудения научной мысли буржуазных историков. Единственный интерес для специалиста в рецензируемых томах „Byzantion“ а могут представлять некоторые публикации эпиграфических и других источников.

В целом содержание этих томов журнала подтверждает факт крайнего вырождения буржуазного византиноведения, открыто ставшего на службу реакционной буржуазии.

II. РЕЦЕНЗИИ

А. Л. ЯКОБСОН. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ХЕРСОНЕС (XII—XIV вв.)

Материалы и исследования по археологии СССР. № 17
Изд-во Академии Наук СССР. Москва—Ленинград, 1950. 256 стр., 160 рис.,
40 + 22 табл. Цена 33 р. 50 к.

Давно уже ощущается необходимость в систематическом, подводящем итоги многолетних работ, обозрении богатых археологических материалов средневекового Херсонеса (или Херсона, как его называли средневековые источники), равно как и в монографии по истории этого города, причем построенной главным образом на этих именно материалах. Эту задачу — в отношении наименее исследованного позднесредневекового Херсонеса — взял на себя сотрудник Института истории

материальной культуры Академии Наук СССР А. Л. Якобсон, который выпустил в серии „Материалы и исследования по археологии СССР“ (вып. 17) книгу о Херсонесе XII—XIV вв.

Это — труд специалиста-археолога, уже немало лет производящего раскопки на херсонесском городище и упорно занимающегося разработкой полученных там материалов. В результате длительных, шаг за шагом расширявшихся, непосредственных наблюдений автор счел возможным суммировать археологические данные и сделать некоторые выводы относительно малоизученного периода в истории средневекового Крыма, преимущественно же его крупнейшего городского центра, каким был Херсон.

Так создалась книга А. Л. Якобсона, представляющая собой систематизированный свод некоторых существенных групп археологического материала, извлеченного из позднесредневековых слоев херсонесского городища; однако вряд ли ее можно считать — в силу неполноты археологических источников — работой монографического характера о средневековом городе Причерноморья.

Как сам автор определяет свое произведение? Он не отказался от краткого и свидетельствующего о максимальном охвате темы заглавия — „Средневековый Херсонес“, — однако на первых же страницах введения нашел необходимым сделать оговорку, что он вынужден самим материалом (его характером и количеством) написать „серию очерков“ (стр. 7), которые посвятил далеко не всем, а „лишь некоторым важнейшим сторонам материальной культуры средневекового Херсонеса“.

Автор оказался обладателем обильного, хотя и одностороннего, археологического материала и вместе с этим располагал довольно открытым и скудным материалом письменных (тем более, эпиграфических) источников. Последний вид источников (т. е. источники письменные), в силу того, что они касаются города, не оставившего своих хроник, не в состоянии помочь развертыванию последовательного изложения — и объяснения — событий не только менее заметной внутренней, но и внешней жизни Херсона. В воссоздании его истории невозможно обойтись без помощи красноречивого массового материала археологических памятников. Но, несмотря на достаточную сохранность городища, и они дефектны: автор, стремившийся показать наиболее полную картину жизни изучаемого им города, был принужден рисовать ее по данным лишь очень немногочисленных, вернее — единичных, хотя и важнейших, групп памятников. Его несколько более детальному анализу подверглась только архитектура жилищ некоторого числа вскрытых городских кварталов и керамика.

В связи с таким состоянием источников автор поставил своей задачей: 1) дать „картину внешнеполитической истории Херсона“, пользуясь известиями многочисленных, но по составу своему довольно бедных письменных источников (русских, греческих, латинских, восточных), опираясь при этом на данные довольно обширной русской и иностранной литературы, затрагивающей историю Крыма; 2) изучить подробно внутреннюю жизнь города, основываясь на археологическом материале, который в той или иной степени освещает быт населения и его занятия (особенно — гончарное ремесло), социальную топографию города и развившуюся в нем художественную культуру.

Разработка этих тем должна была привести автора к характеристике Херсона „как культурного центра Тавриды“.

Книга содержит четыре большие главы: I. „Очерк истории Херсона в XI—XIV вв.“, II. „Жилые кварталы“, III. „Ремесло“, IV. „Художественная культура“.

ственная культура“; о задачах работы и ее итогах говорится в кратком введении и в заключении.

Следует отметить, что большинство иллюстраций: чертежи и зарисовки, а также фотографии (в их числе — несколько цветных) выполнены самим автором. Вообще книга чрезвычайно обильно иллюстрирована; на 32 печатных листа текста приходится 160 рисунков, причем некоторые из них (13) даны на отдельных листах. Вне общей нумерации рисунков в текст включены еще: а) план Херсонеса и б) 22 таблицы с изображением сотен меток на черепицах. К книге приложены 40 таблиц, содержащих 167 отдельных изображений.

Как видно из перечня глав, вторая, третья и четвертая главы посвящены археологическим памятникам, т. е. основному объекту изучения А. Л. Якобсона.

Во второй главе автор — впервые в литературе по Херсонесу — сделал попытку показать основу города, как населенного пункта, а именно — массовое жилище. Он установил тип жилых домов и связанных с ними сооружений, вернее — пристроек хозяйственного назначения, окружавших двор. В распоряжении автора был, несомненно, археологический материал массового порядка, однако только из небольшого (по сравнению со всей площадью городища) числа городских кварталов; с одной стороны, А. Л. Якобсон исследовал кварталы северо-восточной части города, вскрытые Р. Х. Лёпером в 1908—1913 гг., с другой — он пользовался материалами позднейших раскопок северной, прибрежной части Херсонеса, производившихся Г. Д. Беловым в 1931—1940 гг. В первом случае автору приходилось восстанавливать ход работ и последовательность раскрытия памятников по весьма неполным и несовершенным дневникам Лёпера; во втором случае и документация раскопок осуществлялась на более высоком научном уровне, и сам автор, как постоянный участник работ, имел возможность разоб- рать материал полнее.

Убедителен вывод автора относительно разницы во внешнем виде и социальном содержании жилищ того и другого районов. В северо-восточных кварталах города, вытянутых вдоль его главной улицы, недалеко от самых крупных и парадных зданий — огромных базилик „Уваровской“ и „Восточной“, селилась сравнительно зажиточная часть его обитателей, в кварталах же по северному побережью города, выросших, как то показали раскопки, на заброшенных с IX в. пустырях и потому в XII—XIV вв. занимавших окраину города, жизнь была беднее и скромнее. В северо-восточных кварталах не редкость встретить ту или иную архитектурную деталь — резной камень, карниз, обрамление входа, — которая свидетельствует о богатстве внешнего убранства домов (обычно двухэтажных). Жители этих кварталов занимали довольно обширные усадьбы, имели общественную баню, некоторые из семей воздвигли даже собственные фамильные часовни-усульпанницы; в целях изготовления строительного материала для каких-то крупных сооружений они построили две большие обжигательные печи, а обычным в приморском городе промыслом — рыболовством — занимались сравнительно мало. Окраинное население северных береговых кварталов составляли, насколько можно судить по археологическому материалу, рыболовы, добывавшие рыбу на продажу и поддерживавшие свое существование также сельскохозяйственными работами на участках пригородных полей, а также мелкие ремесленники; об этом можно судить по тому, что в прибрежных кварталах обнаружены остатки небольшой

кузнечной мастерской и гончарная мастерская с двумя черепицеобжигательными печами (они действовали в XI—XII вв.).

Изучив археологический материал обоих вышеуказанных районов Херсонеса, автор не удовлетворялся сопоставлением их друг с другом; исходя из своих наблюдений (сравнивались зажиточность населения северо-восточного квартала, занимавшегося, по крайней мере частично, торговлей, и наличие занятия рыболовством и сельским хозяйством в северной части), он попытался наметить социальную топографию средневекового Херсона (стр. 90). Хотя эта проблема, несомненно, является одной из наиболее нужных и интересных при изучении истории города и заслуживает пристального внимания историка, тем не менее, в данном случае, она не могла еще быть достаточно аргументирована (опять же по причине малого количества материала, — например, для характеристики земледельческой техники служат пока что только три лемеха и один серп, причем два предмета дали раскопки 1933 г., два другие — беспаспортны; ср. стр. 95) и потому осталась пока лишь в качестве поставленного перед будущими исследователями вопроса. В связи с этим соображением не следовало в заглавии одного из параграфов второй главы (стр. 94) указывать на будто бы содержащийся в нем разбор признаков социальной топографии города. Как видно, пока удалось установить — и то лишь в самых общих чертах — только разницу в социальном облике двух районов города.

В третьей главе автор исследует археологический материал, характеризующий херсонесские ремесла. К сожалению, в Херсонесе полно и богато представлена продукция только одного из них, гончарного ремесла. А. Л. Якобсон предупреждает читателя о том, что „материал этот (т. е. материал, рисующий ремесленное производство. — *Е. С.*) крайне неравномерно распределяется по отдельным видам ремесла: он в обилии представлен по гончарному делу, зато крайне скуден по различным видам металлообрабатывающего производства, а по целому ряду важных ремесел, например, по деревообделочному или кожевенному (мы прибавили бы еще ткацкому. — *Е. С.*), материала почти вовсе нет“ (стр. 101). Таким образом, автор вынужден ограничить показ ремесла Херсонеса одной керамикой. Он выделил в этой теме три части. В первой говорится о гончарной продукции самого массового распространения — о простой красноглиняной посуде, фрагменты которой наводят археологические слои городища, о глиняной таре и крупных вместилищах, как пифосы, амфоры, кувшины, о грубой кухонной посуде и о более тонкой, иногда художественно выполненной, столовой (неполивной и поливной), как то: чашки, тарелки, миски, блюда и т. п. Особо заметная группа парадной посуды, покрытой поливой и украшенной орнаментом и изображениями, отнесена в четвертую главу книги. Во второй части главы о ремесле заключено исследование о производстве кровельной черепицы, причем разработаны вопросы о внешних признаках, по которым следует отличать черепицу позднесредневекового периода от черепицы более раннего времени, и о разнообразнейших метках — их подобрано всего 324 образца — то в виде буквенных начертаний, то в виде условных обозначений (птицы, кони, всадники, изредка человеческая фигура и др.), которые вырезывались на матрицах и служили, по всей вероятности, знаком отдельного массового выпуска черепицы, изготовленной либо по заказу, либо же на продажу. Равным образом, особым небольшим исследованием является и третья часть главы о ремесле, содержащая очерк о гончарных печах, как о крупных, черепицеобжигательных, так и

о малых, для мелкой посуды, помещавшихся на дворах внутригородских усадеб.

Хотя автору и пришлось рассмотреть ремесло в Херсоне на узком материале только гончарного производства, несомненно сильно развитого в последние века существования города, тем не менее, на основе своих наблюдений, он делает немаловажный вывод: он полагает, что интенсивное развитие ремесла связано с последним в жизни города расцветом в XIII в. Херсон уступил тогда первенство в торговле Сугдее-Судаку, но генуэзская колония в Каффе еще не выросла и не могла пока подавлять старый ремесленный центр, каким был Херсон. Массовое производство керамики херсонскими ремесленниками обслуживало формировавшиеся в юго-западном Крыму феодальные княжества и их города (главнейшим потребителем был, вероятно, город, остатки которого сохранились в нынешнем Эски-Кермене). В первый период возвышения Каффы и возникшего рядом с ней Солхата Херсон снабжал и эти города продукцией гончарного ремесла. Таким образом, в XIII—XIV вв. развитое ремесло определяло экономику Херсона, в то время как в предыдущие века город обогащался главным образом за счет транзитной торговли, которая в юго-западном Крыму сократилась в XII в. и замерла в XIII—XIV вв.

В четвертой главе, в которую, быть может, вложен наибольший труд автора, показана художественная культура позднесредневекового Херсона, причем опять же почти исключительно на памятниках керамического производства. Эта глава служит продолжением и развитием предыдущей; она в основном посвящена поливной посуде с орнаментом и изображениями. „Поливная посуда — это тот вид прикладного искусства, который глубже всего проник в быт позднесредневекового Херсона, стал наиболее массовым видом искусства и потому полнее всего представлен в археологическом материале. Вот почему поливная посуда приобретает для нас преимущественное значение, как источник познания всей художественной культуры Херсона той поры“ (стр. 167). Этими словами автор пытается оправдать известную односторонность своего исследования, в котором ему пришлось строить выводы о художественной культуре только на данных керамики. Впрочем, как говорилось выше, такой уклон вызван главным образом ограниченностью археологического материала, несомненно недостаточного для всестороннего освещения художественной культуры целого города. Правда, в конце четвертой главы автор добавил небольшой отдел о монументальной архитектуре; он нашел нужным говорить об архитектурных сооружениях после гораздо более углубленного анализа глиняной посуды именно потому, что для периода XIII—XIV вв. в его распоряжении не было достаточно материала монументальных построек и по этой причине исследование их явилось лишь незначительным дополнением к изучению керамики.

А. Л. Лкобсон подверг внимательному изучению многочисленный материал херсонской поливной посуды. Масса неразобранных черепков (изредка среди них попадаются целые или почти целые предметы) теперь классифицирована и определена им в отношении хронологии, стиля, техники, существующих аналогий. Установив наличие двух типов художественной поливной керамики [а) красноглиняная полихромная, покрытая изнутри и частично снаружи ангобом, орнаментированная врезной линией и облитая свинцовой прозрачной поливой; б) белоглиняная с подглазурной росписью, выполненной кистью], автор в пределах этих типов упорядочил материал, разделив его на несколько групп.

На основании проделанного исследования автор приходит к выводу о наличии культурных связей позднего Херсона с юго-восточным Причерноморьем — с Трапезундом, с Грузией и Арменией, с малоазийским побережьем. Эти связи тянулись еще дальше, в Персию, в Месопотамию и в Сирию (также и на Кипр). Сколь-нибудь интенсивных связей с Египтом, с Грецией, даже с Константинополем для этого времени автор не отмечает. Однако керамика вышеназванных территорий, „вся эта разнообразная кавказская, сиро-месопотамская, малоазийская и византийская керамика позднего средневековья“ (стр. 171), настолько еще слабо изучена, что трудно поддается распределению по местным художественным школам. Тем не менее, в результате произведенных сличений, автор установил, что херсонские мастера были далеки от того, чтобы рабски следовать за художественными приемами и мотивами, привнесенными к ним с Закавказья или из Малой Азии. Херсонские керамические изделия в части художественной поливной посуды приобрели „специфический местный характер, ясно выступающий даже при беглом сравнении с керамикой Закавказья, а тем более, с керамикой других областей Ближнего Востока“ (стр. 187). Массовый материал, исследованный А. Л. Якобсоном, свидетельствует о локальном характере херсонской поливной керамики, хотя она и обладает, в большей или меньшей степени, чертами сходства с подобной же керамикой Закавказья, Персии, Малой Азии, а частично и с сиро-месопотамской керамикой.

Однако читатель вправе ожидать, что после установления несомненного факта культурных связей Херсона с Закавказьем и Малой Азией автор подвергнет изучению связи этого города с территориями, расположенными к северу, к северо-западу и северо-востоку от Херсона. Каковы же были культурные связи (а для XIII—XIV вв. — их последствия) города с Киевской Русью, с Поднепровьем, с Подоньем и Тмутараканью? Ведь известно, что не только Херсон, но и другие городские центры таврического побережья играли роль транзитных пунктов — и в дипломатических, и в торговых отношениях. Находясь на скрещении путей, они позволяли устанавливать культурные связи отнюдь не в одном только направлении. Книга, которая, при всей неполноте содержания, имеет своей задачей подробное рассмотрение одного из археологических источников истории Херсона, а именно — его керамики, должна была дать ответ на вопрос о взаимоотношениях между культурой, развивавшейся в Херсоне, и оригинальной культурой Киевского Поднепровья. Известно, что связи между Киевом и Таврикой, даже при наличии кочевников в степях, не замирали окончательно.

Автор совершил ошибку, не продолжив и не углубив своего исследования в этом направлении и не добившись — при использовании пусть еще небольшого материала — того или иного ответа на важнейший сам по себе вопрос.

Итак, подводя итоги разбору второй — четвертой глав книги, приходится сделать следующие замечания.

Автор выбрал для своего труда заглавие, не отвечающее содержанию основной („археологической“) части его книги. По самому характеру и количеству археологических источников, на которых построено исследование, оно не является монографией, но представляет собой ряд очерков, а они не могут воссоздать картину жизни города в целом (нарисовать ее без значительных пробелов пока еще невозможно).

Археологический материал, которым располагал автор, оказывается ограниченным: это только керамика и городские жилища, причем, если

гончарное ремесло представлено полно (со стороны как рядовой, так и художественной продукции), то вторая анализируемая здесь группа памятников — жилища горожан — могла быть взята лишь из двух сравнительно небольших частей города и, будучи в общем типичной, все же не является исчерпывающей.

Автору не удалось осветить выдвинутых им крупных исторических тем: о ремеслах в Херсоне (анализировано только керамическое производство) и о социальном облике топографии города (установлена только разница в социальном облике обитателей двух частей города).

Важная тема о культурных связях Херсона получила ответ в смысле утверждения известной близости между этим городом и юго-восточным Причерноморьем. К сожалению, автор оставил не только без ответа, но даже без постановки чрезвычайно интересный и сам собой напрашивающийся вопрос о культурных связях Херсона с Русью. Одностороннее рассмотрение этой темы создало существенный пробел в книге.

При доминирующем положении керамики в исследовании А. Л. Яковсона (третья и четвертая главы) слишком поверхностна и несоразмерно скромна добавка к четвертой главе (в основном посвященной поливной посуде), относящаяся к монументальной архитектуре.

* * *

Прежде чем перейти к критике исторического обзора, помещенного в первой главе, следует сделать одно общее для всей книги замечание. На протяжении всей книги автор употребляет слово „Таврида“ как название средневекового Крыма домонгольского времени. Рассказывая о событиях конца XIII в., автор отмечает, что в ту пору „Таврида“ уже стала называться „Крымом“ (стр. 31, прим. 4); он указывает этими словами на тождественность обоих терминов. Но едва ли можно принять это наименование за подлинное историческое название и найти его в каком-либо средневековом источнике.

Как же, действительно, назывался Крым ранее того, как стал называться в позднее время „Газарией“ и параллельно этому — „Крымом“ (распространенное на весь полуостров название татарского города Солхата, или Эски-Крыма, нын. Старого Крыма)?

Античность не знает для Крыма названия Тавриды. Он назывался „Таврской землей“ или „Таврией“. Однако „Таврианией“ называлась часть Сицилии, поселением „Тавринов“, жителей сев. Италии, — нын. город Турин и, наконец, „Тавридой“ — остров у иллирийского побережья, к северу от о-ва Корфу. Иной Тавриды, кроме этого острова, в древности не было. Геродот же называл Крымский полуостров „Таврикой“. Вот это-то название („Таврическая земля“, „Таврика“) и удерживается в позднейшей истории, в средневековых источниках, которые рассказывают о Крыме.

Прокопий (VI в.) отметил, что часть страны Скифов и Тавров „и ныне называется Таврикой“¹ Генесий (X в.) писал, что император Михаил III вызвал к себе на помощь отряд „Скифов“ из „Таврики“.² В Ипатьевской летописи под 988 г. говорится, что Владимир „поиде на Греческую землю и пришед ко Корсуню... Прием же Володимер град греческий Корсунь (ныне же тамо Крым) и весь той остров, глаголемый Таврику“.³

¹ Procopius Caesariensis. De bello Gothico, IV, 5. § 23, ed. J. Haury, v. II, 1905, p. 507; Прокопий из Кесарии. Война с готами. М., 1950, стр. 388.

² Genesius, ex rec. C. Lachmanni, Bonn, 1834, p. 89.

³ Прибавление к ПСРА, т. II, стр. 255.

Таким образом, если называть Крым каким-то древнейшим названием, то надо говорить „Таврика“. Правда, А. Л. Якобсон не первый ввел в научный труд слово „Таврида“, которое употреблялось в русских дворянских кругах конца XVIII в. для определения только что завоеванного тогда Крыма и которое было создано, конечно, искусственно. Этим определением — хотя и неудачно — пользовались и В. Г. Василевский, и Ю. А. Кулаковский, и С. П. Шестаков, и др. Оно даже включено в указатель к последнему изданию „Повести временных лет“¹, несмотря на то, что такого географического названия в тексте летописи нет.

Обзор истории Херсона в XII—XIV вв., заключающийся в первой главе и написанный с целью создания фона и перспективы для второй—четвертой глав, значительно слабее этих последних. Автор не проявил должного искусства в обращении с материалом письменных источников и далеко не всегда сумел соблюсти строго обязательные для историка правила тщательного и осторожного изучения текстов.

При чтении первой главы бросается в глаза, что автор упоминает чрезвычайно много самых разнообразных письменных источников. Однако мы не всегда можем быть уверены, что автор использовал их из первых рук. К тому же подчас автор дает излишние, ненужные ссылки. Нужно ли было, например, для характеристики татарских набегов на населенные пункты Крыма, сослаться на Марино Санудо, автора XIV в., писавшего в Венеции (стр. 33)? Не достаточно ли было бы ограничиться сведениями, идущими непосредственно от обитателя одного из крымских городов и, быть может, современника событий (имею в виду цитированный автором сугдейский синаксарь с греческими приписками)? Ссылку на Марино Санудо А. Л. Якобсон заимствует у В. Г. Васильевского;² последний, в свою очередь, заимствует указание на этого писателя у В. Томашка;³ получается слишком сложный путь, через который ссылка на источник приходит к А. Л. Якобсону.

Не полностью, как следовало бы, использовал автор такой прекрасный эпиграфический памятник, каким является уникальная надпись 1059 г. с именем стратига Льва Алиата. Автор начал с того, что неправильно определил содержание надписи, не вчитываясь в ее текст: в нем нет речи о возобновлении крепостных сооружений города (стр. 17 и 18), и потому нет никаких оснований считать „важнейший участок обороны Херсона“ — имеется в виду место находки надписи близ оборонительной стены у Карантинной бухты — „с конца X в. не возобновлялся“, будучи разрушенным „при осаде и взятии Владимиром Корсуня в 989 г., ибо осада города, как убедительно показал А. Л. Бертье-Делагард, велась именно с этой стороны“. Как исследователя города, А. Л. Якобсона должно было интересовать, что за „сооружения“ перечислены в надписи, — она же называет, собственно, только ворота, причем одни из них относятся к преторию, т. е. к зданию, где проживал стратиг и помещался гарнизон, а остальные — к городу вообще, т. е. к любой части его стены. Примечательно, что в надписи ничего не сказано о стенах или башнях; таким образом, при внимательном чтении текста, нельзя заключить о возобновлении вообще „крепостных сооружений города“. Обращает на себя внимание и то, что ворота претория названы „железными“; можно предположить, что они были особенно крепкими, окованными железом, но напрашивается

¹ Повесть временных лет. М.—Л., 1950, т. II, стр. 528.

² В. Г. Васильевский. Труды, т. III. П. 1915, стр. CLXXVI, прим. 2.

³ W. Tomaschek. Ethnologische Forschungen über Osteuropa und Nordasien. I. Die Goten in Taurien, Wien, 1881, S. 42.

и другое предположение — что они были „цепными“, т. е. подъемными (следы таких ворот видны в крепостях Судака и Аккермана, правда, позднейших, но устройство крепостей было консервативно вплоть до появления огнестрельного оружия), потому что, хотя ὁ σίδηρος значит „железо“ и отсюда „железный“ — σιδήρεος, но τὰ σίδηρα на средневековом греческом языке означало „цепи“. Не хотели ли словом σιδηραῖ указать на то, что ворота были подъемные на цепях? Эти „цепные“ ворота были, судя по надписи, сооружены заново, тогда как остальные были только возобновлены.

Не следует цитировать текст „Повести временных лет“ по Ипатьевской летописи (т. е. по третьей редакции „Повести“), если он имеется в Лаврентьевской летописи (т. е. во второй редакции „Повести“). Тем не менее, автор поступает именно таким образом там, где передает рассказ о последнем поражении печенегов от Ярослава (стр. 17); это приводит к хронологической ошибке, как как автор на основании Ипатьевской летописи, не указывающей года этого события, относит его к 1034 г., поскольку эта дата — последняя дата в летописи, приведенная перед рассказом о поражении печенегов.¹ Однако более близкая к оригиналу редакция „Повести“ по Лаврентьевскому списку датирует это событие 1036 г.² То же самое относится: а) к рассказу о первом (в 1055 г.) появлении половцев (стр. 17) и б) к рассказу о первом нападении (2 февраля 1061 г.) половцев на русскую землю (стр. 17); оба эти рассказа нет никаких оснований передавать по Ипатьевской летописи. Равным образом, лучше (стр. 23) опираться на текст Лаврентьевской летописи в отношении событий 1084 г.; причем следует указать, что летопись имела в виду князя Давида Игоревича, умершего в 1112 г., сына Игоря Ярославича, а не Давида „Ростиславича“, потому что князя с таким именем вовсе нет в „Повести временных лет“.

Особенно неприятно и, признаться, неожиданно выглядит неточная транскрипция (стр. 20) текста Лаврентьевской летописи, относящегося к 1066 г.³ На 15 строк летописного текста приходится 9 неточностей: нельзя в подлинный текст летописи, в древнерусский язык, вставлять обозначение года по нашей эре, когда в тексте дан год по эре „от сотворения мира“; нельзя вводить произвольную пунктуацию и... отделять запятой подлежащее от сказуемого („оному же, пришедшу...“); следует правильно раскрывать титла, т. е. надстрочные знаки, указывающие на сокращение (надо „рече“, а не „реч“; надо „день“, а не „днь“) и т. п.

Нельзя согласиться с толкованием, которое дает автор по поводу известного греческого текста из похвального слова св. Евгению, взятого в передаче Ф. И. Успенского (стр. 28). Названный источник свидетельствует об обычном явлении в Византийской — в данном случае в Трапезундской — империи, а именно, о доставке в центр государственной подати, собранной в населения периферии. Для этой цели из столицы ежегодно направлялись специальные сборщики, выполнявшие свои функции при поддержке местной администрации и затем отвозившие собранные денежные суммы и натуральные взносы в столицу. Текст гласит, что „государственные подати с Херсона и с там же расположенных климатов Готии“ были погружены на корабль и переправлялись в Трапезунд в сопровождении „государственного архонта“ и некоторых „архонтов Херсона“. Под последними надо разуместь пред-

¹ ПСРЛ, т. II, СПб., 1908, стр. 138—139.

² ПСРЛ, т. I, Л., 1926, стр. 150—151 („Ярославу же сущю Новегороде...“).

³ ПСРЛ, т. I, 1926, стр. 166.

ставителей администрации города, которые отправлялись в ежегодную служебную поездку в Трапезунд. Текст ценен именно тем, что с полной ясностью устанавливает зависимость Херсона в XIII в. от Трапезундской империи. Хотя А. Л. Якобсон и предупреждает, что указанный текст и текст Ибн-ал-Асира, описавшего бегство населения и купцов после захвата Судака татарами в 1223 г. и бегство русских купцов в М. Азию после битвы при Калке, имеют в виду разные события, тем не менее, он почему-то отходит от прямого и простого понимания текста легенды о св. Евгении и обнаруживает в нем сначала „мирное путешествие херсонской знати и купечества в Трапезунд“ (стр. 28), а несколько ниже — „бегство херсонской знати и купечества из Херсона“ (стр. 29). Кроме того, оторвавшись от текста арабского писателя, автор без всяких оснований прибавляет то, о чем в арабском тексте нет ни слова, а именно — что судакские купцы бежали „частью на Русь“ (стр. 29). Как могло бы это быть, если татары, после победы на Калке, рассеялись в степи, гнали и грабили убежавших, которым не было известно, куда направятся их преследователи (после Калки татары пошли на Булгар, где потерпели поражение), а кроме того, вступившие в Крым татарские отряды также отрезали путь на север. Следовательно, незачем было „подкреплять“ сообщение Ибн-ал-Асира превратно истолкованным текстом легенды о св. Евгении, вычитав в рассказе о доставке государственной подати из Херсона в Трапезунд мнимое бегство херсонской знати и купечества; незачем было и направлять спасавшихся от татар судакских купцов „на Русь“, когда источник об этом ничего не говорит.

Весьма небрежно процитирован текст из „Истории ромеев“ Никифора Григоры; он приведен с пропуском, хотя одушенные слова о выходе венецианских триер из Босфора (τὸν τοῦ Εὐξείνου πόντου διαζώσαντες αἰχμένα)¹ были бы весьма интересны для понимания данного места хроники; кроме того, в нем говорится о „порте Византия“, т. е. Константинополя, а вовсе не о каких-то неопределенных „гаванях Византии“ (стр. 38).

Если бы автор поинтересовался нужной ему статьей договора от 6 мая 1352 г. между Иоанном Кантакузином и Генуей, то увидел бы, что запрещение плавать в Тану касалось только византийских судов, но вовсе не касалось венецианских (стр. 39).

Чрезвычайно важный для истории Крыма договор 1381 г. содержит, как известно, специальный пункт о подчинении генуэзцам 18 селений вокруг Солдаи, на которых была возложена уплата подати; эта обязанность выражена словом „rendenti“, вовсе не обозначающим „присоединенные“ (стр. 39). Кроме того, те же „18 приморских деревень“, по А. Л. Якобсону (стр. 19, прим. 2), составляли будто бы „морское побережье Готии“, что неверно; эта „riperia marina Gotie“ являлась полосой побережья между Судаком и Балаклавой, 18 же селений вокруг Судака не имели к ней прямого отношения.

Дошедший до нас неполностью договор 1204 г. о разделе владений Византийской империи не являлся договором „между Балдуином и Дандоло“ (стр. 28, прим. 1), а официальным соглашением между вождями крестоносцев и Венецией, фиксировавшим раздел владений после завоевания 1204 г.

В небольшом отрывке из записок Вильгельма Рубрука (стр. 26) допущены три неточности, объяснимые тем, что автор пользовался переводом А. Ю. Малеина, который, будучи классиком, перевел

¹ Nicephorus Gregoras. Byzantina historia, cura L. Schopeni, v. II, Bonn., 1830, p. 880.

произведение XIII в., исходя из норм классической латыни; такие переводы не годятся для специального исследования.

Недостаточно точно определение той роли, которую играл Херсон среди городов Византийской империи. Автору представляется, что Херсон был „проводником византийской политики в Причерноморье“ (стр. 21), что он выполнял специальные функции дипломатического посредника между Византией и кочевниками, был своеобразным дипломатическим форпостом Константинополя на севере (ср. стр. 12—13). Это верно, но только отчасти, так как дипломатическая роль херсонцев являлась лишь следствием пограничного положения города, который в течение ряда веков был средоточием интенсивной торговли Константинополя и малоазийского черноморского побережья с обитателями южнорусских степей, с самой Русью, с приволжским северовостоком. Пограничный Херсон был прежде всего значительным торговым центром империи, связывавшим ее с важнейшими в торговом отношении областями, и в силу своего географического положения служил пунктом, откуда было возможно зорко наблюдать за политической ситуацией в Северном Причерноморье и на прилежащих к нему территориях. Иллюстрацией к сказанному и является приводимое А. Л. Якобсоном свидетельство летописи о том, что корсунцы известили византийского императора о походе Игоря с флотом на Византию в 944 г. Но, если заглянуть в летописный текст под 941 г. или продолжить его чтение, то обнаружится, что о том же извещали Византию и болгары, обращая внимание и на то важное обстоятельство, что русские „наjali суть к себе печенеги“ (944 г.). Кроме того, невозможно упускать из вида факт тесного переплетения в средние века торговой и дипломатической деятельности. Купцы, как западные, так и восточные, как христианские, так и мусульманские, весьма часто выполняли поручения политического характера либо параллельно с торговыми делами, либо даже специально, как опытные путешественники и знатоки чужих краев. Игорь направлял в Царьград „слы и гостье“, и летописец, показывая состав посольства, перечисляет „слов“ и „купцов“.

События 1066 г., описанные в ближайшем к ним источнике, Лаврентьевской летописи, в ее ценнейшем древнем ядре — записях Никона, естественно очень интересуют автора (стр. 20—23) потому, что, с одной стороны, они тесно связаны с объектом его изучения, Херсоном, а с другой — отражают отношения между Херсоном и Русью. Однако в аргументации своих соображений автор не достиг ни ясности, ни точности. При разборе отрывка „Повести временных лет“, помеченного 1066 г., А. Л. Якобсон правильно отделил друг от друга два последовательно обрисованных летописцем события: 1) отравление тмутараканского князя Ростислава Владимировича херсонским катапаном и 2) восстание корсунцев, побивших этого катапана камнями. Первое событие автор склонен понимать в духе предположений М. Д. Приселкова о „триумvirате“ (в 1059—1068 гг.) старших Ярославичей, державших союз с Византией против половцев; в связи с этим автор полагает, что катапан был продлан в Тмутаракань по указанию византийского императора — союзника русских князей Изяслава, Святослава и Всеволода, чтобы, устранив Ростислава, как захватчика, облегчить возвращение Глеба, сына Святослава, в причерноморское княжество. Придерживаясь такого мнения, автор отвергает соображения как В. В. Мавродина,¹ так и

¹ В. В. Мавродин. Славяно-русское население Нижнего Дона и Северного Кавказа в X—XIV вв. „Ученые записки Ленингр. Гос. Пед. ин-та им. Герцена“, т. XI, 1938.

А. Н. Насонова,¹ причем без достаточных к тому оснований, потому что они принимаются во внимание, а А. Л. Якобсон отбрасывает слова летописца о тревоге греков (неясно, кого имеет в виду источник — вообще ли византийцев или только корсунян) по поводу расширения влияния тмутараканского князя на соседние с его княжеством области, т. е. усиления Руси в Приазовье и Причерноморье. В. В. Мавродин думает, что беспокойство византийцев было вызвано их торговыми интересами (что вполне возможно); А. Н. Насонов полагает, что оно было порождено общим политическим положением (что тоже не исключено). У обоих названных исследователей текст летописи — „сего же уболяшеся грецы“ — оказывается учтенным и отражающим реакцию Византии на нежелательное для нее расширение сферы влияния тмутараканского князя. А. Л. Якобсон возражает (стр. 21), аргументируя тем, что, насколько известно, в дальнейшем подобных шагов византийская дипломатия не предпринимала, и что русское тмутараканское княжество продолжало существовать почти до конца XI в. Однако в свете общего положения в самой Византии такое утверждение оказывается несостоятельным. До Тмутаракани ли (внимание к которой возобновилось затем в XII в.) ей было в последующие годы, на которые приходится и политический переворот (приход к власти Романа Диогена и его окружения), и нарастание опасности от турок-сельджуков (битва при Манцикерте), и потеря последних владений в Италии (взятие Бари), и экспансия Роберта Гвискарда на Восток? К сожалению, автор весьма редко принимает в расчет широкую историческую картину рассматриваемого им времени.

Что касается второго события, отмеченного „Повестью“ под тем же 1066 г., то едва ли прав А. Л. Якобсон, когда он пишет (стр. 21): „Если верить летописи, это (т. е. побитие катапана камнями в Херсоне) произошло тотчас после возвращения катапана в Корсунь“, и (стр. 22) „летописец произвольно связал два одновременных события и соответственно этому объединил их причинной связью“. Пожалуй, как раз наоборот: если верить летописи, то никакой причинной связи в словах летописца ни усмотреть, ни почувствовать нельзя. Современник и, быть может, очевидец события (отравления Ростислава) Никон для полноты представления о катапане, о котором он только что рассказал, добавляет к слову, что он же известен еще следующим, а именно тем, что корсунцы побили его камнями. Так понимает это место летописи и Б. А. Романов.²

Восстание в Херсоне, во время которого толпа побил камнями представителя византийской власти, стратига (или катапана), правильно определяется А. Л. Якобсоном, как „яркий эпизод классовой борьбы“, но сущность этой борьбы им не раскрывается, так как он не имеет данных, чтобы назвать борющиеся классы и определить их требования. То, что он пишет на стр. 21 о „пошлинах и налогах, усердно выколачиваемых с горожан херсонским коммерciarием“, (об ошибке, связанной с пониманием термина „коммерциарий“, см. ниже) и о том, что „торговые льготы“ являлись (?) „ослаблением налогового пресса“ — не звучит убедительно. Повидимому, события в Херсоне напоминали то, что часто разыгрывалось в средневековых городах. Корсунские купцы либо требовали новых торговых привилегий, либо не соглашались с уменьшением уже имевшихся у них торговых льгот и потому

А. Н. Насонов. Тмутаракань в истории Вост. Европы. „Исторические записки“, вып. 6, 1940.

² Повесть временных лет. М.—Л., 1950, т. I, стр. 311.

поднялись против херсонской администрации, причем борьба, как это обычно бывало, велась не их руками, а они — крупное и среднее купечество, повидимому, немалочисленное в еще оживленном торговом городе, каким мог быть Херсон во второй половине XI в., — возбудили и подняли городскую бедноту, пользовавшуюся в качестве оружия лишь камнями. При этом следует обратить внимание еще на одно событие. В конце правления Романа Диогена вновь вспыхнули социальные волнения; в Константинополе стали друг против друга сторонники Михаила VII, его матери Евдокии и его воспитателя и советника Пселла и сторонники еще пытавшегося удержать свое влияние разбитого под Мандикертом Романа Диогена. Опорой последнего были некоторые армянские феодалы, среди которых встречается фамилия Алиатов. Быть может, Херсон по своим политическим симпатиям стал на сторону Михаила VII Дуки и отвернулся от Романа Диогена после его поражения в 1071 г. Если допустить это, станет понятно, что корсунцы могли побить камнями неугодного им стратига, которым мог быть упоминавшийся в надписи 1059 г. Лев Алиат, возможно, являвшийся приверженцем павшего императора. В связи с общим положением в империи на Херсоне могли тяжко отзываться и экономические мероприятия всеильного при Михаиле VII временщика Никифорицы, которые привели к созданию государственной монополии хлебной торговли и т. д.

Все эти соображения не подкрепляются никакими данными источников, но в известной мере вытекают из общей исторической ситуации тех лет. Эту последнюю А. Л. Якобсон не хочет учитывать, несмотря на то, что ее анализ позволил бы высказать некоторые гипотезы, но довольствуется материалами, привлеченными В. Г. Васильевским в его статье „Два письма византийского императора Михаила VII Дуки“ (опубликованной в 1875 г.). Эти материалы были нужны Васильевскому для определения возможного адресата писем, а А. Л. Якобсон использует их для того, чтобы подтвердить факт восстания в Херсоне, упомянутого Никоном, и для попытки его датировать. К сожалению, эти материалы представляют собой весьма зыбкую почву для выводов, как предупреждал читателей и сам Васильевский, который писал: „Источники, из которых мы почерпнули известия, служащие в объяснение византийских документов, слишком поздны и смутны“.¹ Действительно, если не оба, то во всяком случае один из источников, использованных Васильевским, очень сомнителен и вряд ли может служить солидной опорой. Рассмотрим их. Первый из них — Татищев, автор „Истории Российской“, второй — аббат Одерико, написавший по заказу Екатерины II историю генуэзских колоний. Поскольку Татищев имел в своем распоряжении ныне утраченные источники, его сообщения ценны. Из слов Татищева явствует, что „корсуняне отреклись“ от Михаила VII, который просил Святослава и Всеволода Ярославичей о помощи против них, и что Святослав послал на Корсунь сына своего Глеба и племянника своего Владимира. Это случилось незадолго до смерти Святослава (ум. в 1076 г.), а сразу же после низложения Михаила VII (в 1078 г.) Всеволод отозвал своего сына Владимира из крымского похода. Характер восстания в Херсоне по этим известиям из „Истории“ Татищева установить не удастся. Что же касается известий об этих событиях в сочинениях Одерико, то они, не привнося в общем ничего существенного, к тому же вовсе подозре-

¹ В. Г. Васильевский. Труды, т. II, вып. 1, СПб., 1909, стр. 30.

тельны. Васильевский извлек их не непосредственно, а через ссылку Э. Муральта (служившего в середине XIX в. библиотекарем Публичной библиотеки в Петербурге), который указывает на 13-е письмо в сочинении Одерико „Lettere linguistiche“ (1792 г.).¹ Примечателен отзыв Васильевского о своем источнике: „Все это было бы просто и ясно, но беда вот в чем: нам приходилось иметь в руках... сочинение Одерико, однако ничего подобного приведенному рассказу о восстании Корсуни мы не нашли ни в 13 письме, ни во всем сочинении. Мы думали сначала, что Муральт сделал грубую ошибку, просто сочинив свое известие при помощи Татищева. Но теперь, после выхода в свет второй половины Хронографии 1057—1453 гг., мы должны отказаться от такого предположения. Мы видим, что Муральт пользовался неизданными сочинениями и бумагами Одерико; следовательно, по всей вероятности, в самом деле взял у него интересующее нас известие, но по какой-то ошибке или небрежности перемешал цитаты, что с ним, правду сказать, случается“.² А. Л. Якобсон без всякой проверки воспринятых им от Васильевского источников исходит из них в своих рассуждениях о восстании в Корсуне. Между тем, можно проверить точность утверждения Васильевского о существовании каких-то „бумаг“ Одерико. Во II томе „Хронографии“ Муральта, впервые под 1316 г. (стр. 518: „Oderico, notices mss à Gênes, chez de Muralt p. 4“) и дальше несколько раз повторено упоминание об этих рукописях Одерико, всегда в отношении XIV и (преимущественно) XV вв. Но при этом важна ссылка на статью самого Муральта (о генуэзских колониях, опубликованную им в 1859 г.), в которой хотя и говорится о некоторых документах из истории генуэзских колоний в Крыму (вероятно, сведения об этих документах и были взяты из архива Одерико), но нет ни слова о восстании в Херсоне. Ученый аббат этими вопросами не занимался, а Муральт этих вопросов не включал в цитируемую им свою статейку 1859 г. Приходится вернуться к предположению Васильевского, так как оно весьма правдоподобно, а именно, что Муральт заимствовал приводимое им известие из „Истории“ Татищева и, следовательно, ничего нового не сказал.

А. Л. Якобсону не стоило приводить для доказательства своих положений столь шаткий „источник“; однако, если уж он был им взят, то хотелось бы видеть его более точно понятым автором. Дело в том, что слова Муральта „Les habitants de cette ville, rivaux de Kaffa et de Soldaya, ne pouvant obtenir de l'empereur certains privilèges commerciaux, se soulèvent contre son autorité...“ едва ли соответствуют такому переводу (стр. 21): „обитатели этого города, побережья Кафы и Солдаи, не смоги получить от императора определенные торговые привилегии, восстали против своего начальства (своей власти)“. Нетрудно заметить, что „rival“ значит „соперник“ (хотя неясно, при чем тут Кафа, не имевшая в XI в. никакого торгового значения!) и что „son autorité“, „его власть“ относится к императору, а не к херсонским начальникам.

Таким образом, как нам представляется, автор должен был бы не пользоваться готовым набором источников даже такого авторитетного ученого, как В. Г. Васильевский, а заново их пересмотреть и затем объяснять интересующие его события, исходя из лучшего и неоспоримого для данного случая источника — из русской летописи.

¹ E. Muralt. Essai de chronographie, v. I, St. Pétersburg, 1871, p. 28.

² В. Г. Васильевский. Ук. соч., стр. 29, прим. 1.

написанной в этой своей части таким прекрасным историком, каким был Никон, сам, к тому же современник и свидетель событий 60-х годов XI в. в Крыму.

Никак нельзя оправдать измышлений А. Л. Якобсона по поводу херсонского стратига Георгия Цулы (стр. 16). Это лицо упоминается в источниках дважды: а) на свинцовой печати, найденной в Херсонесе в 1884 г. („Георгию Цуле, императорскому протоспафарию и стратигу Херсона“);¹ б) в хронике Кедрина, где повествуется о походе византийского флота в 1016 г. против „Хазарии“, о подчинении этой области и о захвате в плен ее архонта Георгия Цулы.² Хотя автор и предупреждает, что все высказанное им — „не более, чем догадки“, но, как хорошо известно, догадки историка, будучи вполне допустимыми, должны быть чем-то обоснованы, а этого как раз и нет в домыслах относительно роли Георгия Цулы. Несмотря на имеющееся у нас точное определение должностного положения Георгия Цулы — он был, как видно по его печати, византийским стратигом Херсона, — автор объявляет его „хазарским правителем“, „хазарином Цулой“ (всего лишь на основании его не-греческого прозвища!). Исходя из подобной характеристики Цулы, автор придумывает ряд фантастических событий: 1) военный переворот в Херсоне, совершенный хазарским гарнизоном, и захват Херсона хазарами вскоре после ухода русского войска Владимира, 2) „политический маневр“ Цулы, стремившегося, якобы, предотвратить окончательное падение хазарской власти в Крыму — обращение его к императору с предложением „своих услуг и верноподданничества“ в качестве византийского топарха херсонских климатов и Херсона, 3) согласие императора, но без особого доверия к Цуле, 4) стремление императора „избавиться от своего хазарского вассала“, конфликт, посылка флота для ликвидации „временного хазарского засилья в Херсоне“. Весь этот рассказ для разъяснения события 1016 г. является каким-то перегруженным выдумками подобием истории, какой-то ничем не оправданной ее реконструкцией.

Текст Кедрина о морском походе 1016 г. сообщает нечто иное. Византийский флот был послан Василием II „в Хазарию“. В источнике XI—XII вв. название Таврики „Хазарией“ вполне естественно (известно, что „Крым“ назывался так и в XIII—XV вв.). В Константинополе могли так называть страну, через которую, как правило, в течение веков (с конца VII по середину X в.) пролегал путь в коренную Хазарию, т. е. на Северный Кавказ, и в подчиненные хазарам области по восточному побережью Дона (Саркел). Корабли, отплывшие в „Хазарию“, должны были — вероятнее всего — направиться к Херсону. В тексте Кедрина нет ни малейшего намека на хазар или на представителя хазарской власти (у А. Л. Якобсона — „хазарский правитель“, а у В. Юргевича, ук. соч., стр. 42, даже „последний крымский хаган“!). Таким образом, флот не был послан сокрушать хазарское владычество в Крыму, а направился к крымским берегам с иной целью, которая определена в самом тексте. Ведь в нем говорится, что начальник флота Монг подчинил „область“ (χώρα, т. е. страна, земля, область, но и „город“) и захватил в плен ее архонта Георгия Цулу. На его имени сходятся свидетельства хроники и печати. Напрашивается вывод, что флот Василия II в 1016 г. был послан в Таврику („Хазарию“) для усмирения Херсона. Этот город нередко проявлял оппозицию византийскому пра-

¹ В. Юргевич. Свинцовые печати, принадлежащие Музею. „Записки Одесского общества истории и древностей“, т. XV, 1889.

² Cedrenus, ed. J. Bekker, Bonn, 1839, v. II, p. 464.

вительству и затем бывал усмиряем императорскими войсками. В данном случае можно предположить, что заодно с херсонцами действовал и их стратиг. Что же касается Хазарии и низвержения хазарского владычества, то последнее уже совершилось за полвека до этих событий, когда Святослав в 965 г. не только разбил хазар под Саркелом, но подорвал силы их государства далекими походами на Северный Кавказ („на ясов и касогов“). Преувеличивать значение и силу хазар в Таврике, да еще в начале XI в., после походов Святослава и Владимира, нет никаких исторических оснований.¹

Неправильно приписывать известному в византийских и в ряде средиземноморских торговых городов таможенному чиновнику, называвшемуся всюду на Леванте „коммеркиарием“, функции сбора податей (стр. 19 и 21). Коммеркиарии собирали только пошлину с ввозимых или провозимых товаров. В связи с этим нельзя не указать на недоумение, происшедшее с именем одного из коммеркиариев, упоминаемым на его свинцовой печати из Херсонеса. Краткая греческая надпись моливдовула называет коммеркиария Дамиана, но А. Л. Якобсон почему-то не дочитал до конца этого имени, расположенного на двух строках,² и оперирует вместо „Дамиана“ непонятым именем „Дамеа“ (стр. 19). Неправильно определять византийский титул патрикия как чин (стр. 19), так как это был почетный титул, не связанный с определенной должностью.

Приводя тексты письменных источников в переводе, надо с оглядкой вставлять слова оригинала, чтобы они соответствовали русским словам, около которых они поставлены. Например, на стр. 38 греческое слово *ἐκεῖθεν*, означающее „оттуда“, отнесено к русским словам „разные места“; или, на стр. 27, в пояснение формулы договора Византии с Генуей в 1169 г. вставлено несколько недостаточно соответственных по смыслу греческих слов.

Следует отметить, что первая глава, содержащая 17 параграфов, излишне мелко расчленена. Многообещающие пространные заголовки параграфов не всегда отвечают содержанию. Например, параграф 9 называется „Херсон в конце XI в. Русско-херсонские отношения“, но о последних сказано предельно мало (стр. 25): „Затормозилась торговля Киева с Византией, надолго заглохла русские торговые связи с Херсоном... Русско-херсонские отношения были прерваны“, — и это все!

К сожалению, книга не свободна от мелких промахов. Например, не следует называть автора похвального слова св. Евгению Лазарем, когда он был Иоанном, тем более, что именно так он и назван в том самом издании текста А. И. Пападопуло-Керамевсом (1897 г.), которое цитировано А. Л. Якобсоном (стр. 28). — Неправильно считать, что частичное занятие сельским хозяйством (на пригородных участках) херсонских ремесленников было их особенностью (стр. 96); наоборот, это явление — обычное для всех средневековых городов, даже столь крупных, как Париж. То же самое можно сказать и относительно знаков каменотесов на обработанном строительном камне. Применение таких знаков было вообще широко распространено в средневековых корпорациях каменщиков.

Относительно стиля автора нельзя упрекнуть: как правило, стиль его ясен, прост, не отяжелен слишком длинными фразами; однако

¹ Следует отметить, что до А. Л. Якобсона эту же ошибку допускали и А. А. Васильев, и В. Г. Васильевский.

² А. Ф. Вишнякова. Свинцовые печати византийского Херсонеса. „Вестник древней истории“, 1939, № 1, стр. 124, № 4.

некоторые слова чрезмерно „разговорны“, например: „загород“ (стр. 15), „кладовка“ (в ряде мест), „проулок“ (стр. 89, но на стр. 92 — переулок), „задворок“ (стр. 72). Едва ли каменную ограду называют „забором“ (стр. 89); едва ли усадьбу можно определить как „приземистую“ (стр. 92); едва ли хороши выражения, что „половцы промышляли рабами“ (стр. 24) или что Русь в XIII в. является „этнической группой“ (стр. 35). Рыболовство считается промыслом и его обычно не причисляют к сельскому хозяйству (стр. 97). Неудобно хорошо известный город Трир (Trier) транскрибировать по-русски „Триер“ (стр. 159). Если склонять имя собственное „Инкерман“, то следовало бы склонять и „Эски-Кермен“. Едва ли уместно множественное число в названиях крымских деревень „Партенит“ (стр. 124, 125, 134 и др.) и „Лака“ (стр. 248, 249), хотя в житии Иоанна Готского говорится о „торжище Парфенитов“. На стр. 254 вкралась не выверенная в отношении предлогов фраза: „говоря о позднем средневековье, мы должны иметь в виду уже не Византию..., а о юго-восточном Причерноморье, особенно об области Трапезунта, а через нее с Закавказьем — Грузией и Арменией — влияние которых всегда очень сильно сказывалось в Трапезунте“. Нехорошо злоупотреблять словом „ибо“: „ибо эта керамика, хотя и привозилась в Херсон, но в очень небольшом количестве, ибо находки ее крайне редки“ (стр. 180, 176 и др.). Имеются столь досадные в научной книге ошибки в ссылках: на стр. 13 — следует 1889 г. (год издания „Киевской старины“), а не 1899 г.; на стр. 33 — следует стр. CLXXVI (у Васильевского), а не CLXXX; на стр. 39 — следует стр. 258 (в „Византийском Временнике“, т. II), а не 358; на стр. 28 — следует стр. 174 (у Васильевского), а не 184; на стр. 28 — издание Пападопуло-Керамевса называется не „Сборник материалов...“, а „Сборник источников по истории Трапезунтской империи“; на стр. 38 — перепутана глава и год текста из хроники Никифора Григоры.

В книге А. Л. Якобсона очень много опечаток, хотя в приложенном списке их значится только двенадцать. В 17 названиях перечня сокращенно цитируемых изданий (стр. 256) осталось 11 ошибок. Примечания особенно пестрят опечатками в иностранных названиях книг, причем далеко не всегда можно отнести ошибки за счет типографии. Во французском заглавии работы Сильвестра де Саси допущено 7 ошибок (стр. 39), во французском же заглавии книги Гейда (стр. 9 и 34) — три ошибки, столько же в названии книги Стржиговского (стр. 211 и 213). С ошибками дано греческое название работы Орландоса (стр. 86). Вместо слова „fouilles“ — раскопки, оставлено „feuilles“ — листья (стр. 191); некоторые английские слова не дописаны (стр. 195, 237); в длинном латинском названии издания произведено неправильное его сокращение (стр. 38); многочисленны ошибки в окончаниях иностранных прилагательных мужского и женского рода (стр. 21, 230 и др.), в знаках ударения и т. п.

Каковы же выводы из всего вышесказанного? Книга А. Л. Якобсона свидетельствует о нужной работе автора в области средневековой археологии Причерноморья; ее вторая, третья и четвертая главы обнаруживают опыт автора в исследовании археологических памятников. В этих главах представлен массовый материал раскопок в научно обработанном виде и даны заключения к каждому разделу — о жилище, о простой керамике, о поливной керамике. С некоторыми положениями автора нельзя не согласиться. Это относится к его представлению о расцвете ремесленного (точнее — гончарного) производства в позднем Херсоне и о наличии оживленного рынка в окружающих областях.

Правильна постановка автором вопроса о социальной топографии города. Интересен показ типов массового жилища рядовых херсонцев в XII—XIV вв. Но, тем не менее, основная часть книги, посвященная изучению археологических источников, несмотря на значительный труд автора, не представляет собой той монографии, которая обещана заглавием книги, не отвечающим, как сказано выше, ее содержанию. Наряду с этим выступают и другие серьезные недостатки, перечисленные выше. Особенно надо подчеркнуть грубое упущение автора при исследовании вопроса о культурных связях Херсона, выразившееся в антинаучном игнорировании культурных взаимоотношений Херсона и Поднепровья.

Историческая (т. е. построенная на материале письменных источников) часть труда А. Л. Якобсона страдает серьезнейшими недостатками. В работе над этим материалом автор не проявил необходимого умения. Соображения, высказываемые им в той части его книги, где он опирается на эти, более далекие от археологии источники, либо упрощены и обеднены, либо, наоборот, отягчены недопустимыми домыслами. Автор при этом не обладает техникой исследования исторического текста. Поэтому едва ли было правильно предпосылать „археологическим“ главам книги обширную и не проработанную по-настоящему „историческую“ главу и создавать тем самым ложное впечатление как о письменных источниках, так и о самой истории средневековой Таврики.

Е. Ч. Скржинская

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ВИЗАНТИИ

Издательство Академии Наук СССР. Ответственный редактор академик
Е. А. Косминский. Редакторы Б. Т. Горянов и Ф. М. Россейкин.
Москва, 1951, стр. 319.

Выход в свет рецензируемого „Сборника“ имеет важное значение для преподавания в вузах истории Византии. Наша учебная литература располагает довольно значительным количеством источников по истории западноевропейского феодального общества, переведенных на русский язык и либо изданных отдельно, либо собранных в хрестоматиях. Что же касается истории Византии, то по этому весьма крупному разделу средневековой истории до появления настоящего „Сборника“ мы не имели пособия, которое могло бы быть поставлено в один ряд с существующими хрестоматиями по истории западного средневековья. Между тем, советская медиэвистика совершенно правильно стремится покончить с однобоким „западническим“ направлением в изучении истории феодального общества; в связи с этим все большее внимание уделяется, в частности, проблемам византийского феодализма. Исследования кардинальных вопросов истории византийского феодализма ставится на принадлежащее им по праву место в разработке общей истории средневековья. Поэтому следует признать, что издание „Сборника документов по социально-экономической истории Византии“ отвечает назревшей, настоятельной потребности советской исторической науки.

Правда, около половины „Сборника“ составляют переводы византийских источников, опубликованные ранее, но это отнюдь не снижает его ценности. Дело в том, что, во-первых, переводы эти, в свое время

помещенные в различных, большей частью старых, журналах и сочинениях (Ф. И. Успенского, В. Н. Бенешевича, П. В. Безобразова и др.), далеко не всегда и не во всех книгохранилищах можно иметь под рукой, и, во-вторых, большое количество документов и материалов — и притом весьма ценных — впервые даны в рецензируемом издании в русском переводе.

„Сборник“ состоит из: 1) общего предисловия; 2) четырех основных разделов, в которых размещены документы (в соответствии с четырьмя основными периодами византийской истории, выделяемыми авторами), причем каждой из этих групп источников предпослана вводная статья составителя данного раздела; 3) „Приложений“, в которых даны карты, библиография по социально-экономической истории Византии, толковый словарь греческих терминов, встречающихся в „Сборнике“.

Работа выполнена членом-корреспондентом АН СССР Н. В. Пигулевской, проф. М. В. Левченко, научными сотрудниками ИИ АН СССР Б. Т. Горяновым и Е. Э. Липшиц, [Ф. М. Россейкиным], канд. ист. наук А. П. Кажданом и др.

Одним из крупных достоинств „Сборника“ является то, что в нем впервые поставлен один из важнейших вопросов византиноведения, — вопрос периодизации византийской истории. В „Сборнике“, совершенно правильно, по нашему мнению, различаются четыре периода в тысячелетней истории Византии: разлагающейся рабовладельческой империи (IV—VI вв.), становления феодального общества (VII—IX вв.), торжества феодального строя (X—XII вв.) и разлагающегося феодализма (XIII—XV вв.). Вместе с тем, в надлежащей степени подчеркнуты и специфические особенности феодальной формации в Византии, такие, например, как сохранение рабства после краха рабовладельческой системы, т. е. после VII в., отсутствие элементов капиталистического способа производства на заключительном этапе византийской истории и т. д. Данная авторами периодизация базируется на марксистско-ленинском понимании исторического процесса: за основу деления истории Византии на определенные этапы принимаются изменения, происходившие в социально-экономическом строе византийского общества.

I

Переходя к более детальному рассмотрению вводных статей „Сборника“, позволим себе выразить некоторые сомнения относительно отдельных положений, с которыми мы здесь встречаемся.

Во вводной статье первого раздела, содержащей социально-экономическую характеристику ранней Византии и написанной Н. В. Пигулевской, между прочим, дан анализ социального состава непосредственных производителей в сельском хозяйстве: мы видим здесь рабов, посаженных на землю, и колонов, находившихся в различной степени зависимости от крупного землевладельца, крестьян-общинников и мелких земельных собственников. Указав на эти категории непосредственных производителей, Н. В. Пигулевская пишет далее: „Следует отметить и другое явление, наличие в V и VI вв. крепостных, сидящих на монастырской, церковной или епископской земле — париков. Этот термин хорошо известен в более поздних документах и монастырских актах; для этого раннего времени он встречается в сирийских хрониках, как сирийский эквивалент термина *ṭāroḥo* — *tautbe* (от корня *iteb* — „сидеть“). В число париков вербовались наиболее бедные представи-

тели непосредственных производителей и жили на монастырской земле в положении крепостных“ (стр. 10). Невольно возникает вопрос: что хочет сказать автор этим „дополнением“? — Если только то, что зависимые, прикрепленные к земле колонны сидели и на монастырских, и на церковных землях, — это положение правильно и бесспорно, — то стоило ли выражать эту мысль столь мудреным способом? Если же автор хотел сказать нечто большее, если он считает, что в ранней Византии имелась еще одна группа зависимого крестьянства, факт существования которой не получил отражения в кодексе Юстиниана, то следовало развернуть это положение, обосновать его. Но именно этого автор и не делает: ведь филологическое сближение сирийского слова, означающего „сидеть“, с хорошо известным термином византийского феодального права более позднего времени не является доказательством, по крайней мере, — достаточным доказательством того, что, помимо перечисленных автором, существовала еще особая категория „крепостных“, сидящих на церковно-монастырских землях. Да и сам автор, подводя итоги данному им анализу социального состава непосредственных производителей (на стр. 13), уже „забывает“ об этой группе: он не говорит о ней более, а в документах не дает текста, подтверждающего его гипотезу.

В таком виде положение Н. В. Пигулевской способно вызвать вполне обоснованные сомнения читателя; не включенное самим автором в его общие выводы по вопросу об аграрных отношениях в Византии IV—VI вв. и не подкрепленное соответствующими документами, оно повисает в воздухе.

Относительно вводной статьи второго раздела „Сборника“ (она трактует проблемы славянской колонизации и развития византийского феодализма в VII—IX вв. и принадлежит перу Е. Э. Липшиц) надо заметить прежде всего, что в этой статье было бы вовсе не лишним четкое отмежевание — на основании гениального учения И. В. Сталина о языке — от марристских заблуждений в области затрагиваемых автором вопросов. Известно, что имеющая более чем столетнюю давность концепция иллирийско-фракийского происхождения южного славянства получила в свое время „подкрепление“ в пресловутой теории „взрывов“ Н. Я. Марра и не так давно была в новой марристской одежде преподнесена советскому читателю академиком Н. С. Державиным. Поэтому отмежевание от этой концепции в данном случае явилось бы вполне уместным.

Вызывает сомнение положение автора о том, что императоры-иконоборцы в своей внутренней политике „предприняли ряд реформ в направлении, подсказанном требованиями народных масс“ (стр. 68, разрядка наша. — Н. С.). В качестве доказательства этого тезиса Е. Э. Липшиц указывает на иконоборческое движение, поднятое Исаврами, на Эклогу, в которой „провозглашалась необходимость борьбы с поборами судейских чиновников“ (стр. 68), и „Земледельческий закон“, — законодательные памятники, связываемые с именами Льва III и Константина V. Однако против выдвигаемого автором объяснения реформ Исавров, которые якобы были „подсказаны“ народными массами, говорит ряд соображений: восстание Фомы Славянина — движение несомненно народное и массовое — шло не под иконоборческим, а скорее под иконодульским знаменем; что касается поборов судейских чиновников, осужденных „Эклогой“, то они не поощрялись ведь и кодексом Юстиниана; наконец, неубедительна ссылка автора и на „Земледельческий закон“: издание этого законодательного памятника, признававшего крестьянскую общину, фиксировавшего

земельные отношения, сложившиеся на территории империи после широкого расселения в ее пределах славян, было продиктовано определенными государственными соображениями — не только тем, что византийское централизованное государство не могло оставить без юридического оформления очень важной стороны фактически сложившихся отношений, но также и тем, что крестьянская община и мелкое крестьянское землевладение отвечали основным государственным потребностям.

Гораздо убедительнее звучит другое положение Е. Э. Липшиц: „Законодательство и мероприятия их (императоров-иконоборцев. — Н. С.) имели ярко выраженный классовый характер, защищая интересы крупного светского землевладения“ (там же). Совершенно очевидно, что этот правильный тезис не согласуется с ранее высказанной автором мыслью о том, что реформы исаврийских императоров были „подсказаны требованиями народных масс“.

В связи со списком фем, помещенным на стр. 69 и 70, возникает вопрос: почему в составе фем нет Критского дуката? Здесь приводится перечень фем, сложившихся к началу IX в., а Крит был захвачен арабами только в 825 и 826 гг.

Введение к документу третьего раздела „Сборника“, содержащим материалы для характеристики византийского феодализма X—XII вв., написано проф. М. В. Левченко. В своем содержательном очерке, данном на основании источников, М. В. Левченко по-новому ставит вопрос о происхождении аграрного законодательства императоров Македонской династии, а именно — он выдвигает оригинальную мысль о том, что корни этого законодательства следует искать не только в противоречиях, существовавших между отдельными группами феодалов, но также в классовой борьбе между династами и убогими: „Новелла 934 г. и следующие за ней новеллы были не чем иным, как уступкой, которую низшие классы вырвали у феодалов в результате острой классовой борьбы, использовав противоречия между отдельными прослойками господствующих классов“ (стр. 127).

При всей бесспорности этого положения, следовало бы все-таки тут же заметить, что значение указанного фактора не было одинаковым при издании каждой новеллы в отдельности. Для Никифора Фоки и Василия II, например, большое значение имели мотивы иного рода. У Василия II было гораздо более оснований бояться не народных востанов, а именно династских мятежей. Впрочем, М. В. Левченко в других местах своего введения и сам показал это с надлежащей убедительностью и ясностью (стр. 132, 133).

Автором введения последнего раздела „Сборника“ („Поздневизантийский феодализм“) является Б. Т. Горянов. В этом введении вызывает решительные возражения следующий тезис: „Латинские завоеватели не лишали византийских феодалов-архонтов их земель. Источником распределения новых феодальных держаний были, главным образом, нерозданные императорские, государственные земли“ (стр. 230). Это заключение сделано Б. Т. Горяновым на основании Морейской хроники, которая действительно представляет дело именно таким образом. Но автору следовало бы принять во внимание, что Морейская хроника — это источник, данные которого имеют сравнительно узкое — в территориальном отношении — значение: она изображает в основном порядки, существовавшие в Пелопоннесе.

Засвидетельствованное Морейской хроникой отношение завоевателей к местным архонтам диктовалось слабостью феодальных банд Шамплита и Виллардуэна и сильным сопротивлением местного населения.

На большей части остальных территорий империи, захваченных крестоносцами, последние держались иной политики. Это отчасти видно из тех документов, которые приведены в данном разделе „Сборника“ самим Б. Т. Горяновым. Мы имеем в виду сообщение Никиты Хонната: „Ромеи, которые бежали вместе с императором (большинство из них было знатного рода, опытные в военном деле, происходившие из городов Фракии), хотели присоединиться к маркизу (Бонифацию Монферратскому, возглавлявшему Фессалоникское королевство, вассальное по отношению к Латинской империи. — *Б. Г.*) и оказать ему возможную помощь. Он же отказал им, говоря, что не нуждается в войнах-ромеях. После этого они с той же просьбой обращаются к императору Балдуину. Снова получив отказ, они обращаются к Иоанну“ (царю болгар. — *Н. С.*) (стр. 253). Видным участником раздела Византийской империи была, как известно, Венецианская республика, эксплуатировавшая доставшуюся ей часть империи также феодальными методами. Республика всюду стремилась решительным образом поддержать представителей собственной венецианской знати; к услугам местной аристократии венецианцы прибегали только по особым соображениям. Достаточно указать для примера на систему мероприятий, которые были проведены ими на Крите, Корфу и в других местах.

Начиная с 1211 г., республика св. Марка несколько раз направляла на Крит представителей знатных венецианских фамилий — рыцарей и „рядовых“ венецианцев — пехотинцев; на них возлагались оборона и управление островом, им предоставлялось право эксплуатации местных земель и местного крепостного населения.¹ В 1207 г. дож Пьетро Цини инафеодировал остров Корфу, город и крепость на нем Пьетро Микьеле и девять другим венецианским нобилем.² Подобный же порядок установился во Фракии и Малой Азии, в Галлиполи и Лампсаке.³

Правда, на Крите некоторые лены были переданы местным феодалам-архонтам, но это было лишь вознаграждение за предательство по отношению к собственным соотечественникам. Дука острова Анджело Градениго предоставил в ленное владение земли Константину и Эпано Сиврито и „тем, что с ними“, но с условием, что эти вассалы помогут захватить неуловимых для венецианцев братьев Мануила и Константина Драконтипуло и изгнать с острова эмиссаров Никейского императора Иоанна Ватаца.⁴ Некий Алексей Каллергий получил даже звание венецианского нобилем, но он был обязан этим особым обстоятельствам: дело в том, что Алексей Каллергий почти двадцать лет держал в страхе венецианских феодалов на Крите, и возведение его в звание нобилем было ценой, которой венецианцы купили у него отказ от продолжения борьбы.⁵

Венецианцы требовали от своих вассалов на острове, чтобы они не принимали к себе на службу греков даже в качестве рядовых воинов.⁶ И это была не только правительственная политика, но и требование самих феодалов. От 1302 г. сохранился документ, представляющий собою наказ феодалов Крита своему посланцу в Венецию — Энрико

¹ *Andreae Danduli Chronicon. Rerum Italicarum Scriptores (Muratori, SS), v. XII, col. 337.*

² *Fontes rerum austriacarum. Diplomata et Acta (FRA DA), v. XIII, p. 57, 58.*

³ Там же, стр. 209; *Andreae Danduli Chronicon, col. 334.*

⁴ *FRA DA, v. XIII, p. 323, 325.*

⁵ *Laurentius de Monacis. Chronicon de rebus Venetorum, ed. F. Cornero, Venezia, 1758, p. 158 ss.*

⁶ *FRA DA, v. XIII, p. 244.*

Градениго, который должен был изложить дожу их нужды и пожелания; среди этих пожеланий мы находим также и следующее: „Скажите там, чтобы греки не могли быть владельцами феодалов и быть членами Совета феодалов“ (Совет феодалов существовал на Крите в качестве Большого Совета при дуке острова. — *Н. С.*).¹

Можно было бы привести и другие данные, идущие в разрез с приведенным выше утверждением Б. Т. Горянова. Кроме того, общеизвестно, что одной из причин слабости Латинской империи было как раз отсутствие спайки между пришлыми захватчиками и местными феодалами-эксплуататорами, насильственно лишенными своего прежнего положения; крестоносным грабителям, которые шли на Восток с целью захвата там для себя ленов и крепостных, не нужны были „воины ромей“.

II

Документальные материалы, представленные в „Сборнике“, весьма разнообразны и в целом дают отчетливое представление об основных вопросах социально-экономической истории Византии. Бесплезно говорить о том, что в „Сборнике“ надлежало поместить еще те или другие документы, — область таких пожеланий практически безгранична. Постановка этого вопроса имеет смысл только в том случае, если бы в „Сборнике“ были помещены такие документы, без которых легко можно было бы обойтись, и, наоборот, — пропущены более или менее важные документы и материалы.

Однако в этом отношении к составителям „Сборника“ нельзя предъявить сколько-нибудь значительных претензий. Позволим себе все же указать на некоторые места „Сборника“, относительно которых такого рода пожелание, как нам думается, было бы уместным.

На стр. 242 помещено известие Никиты Хониата, в котором он говорит о географической неосведомленности „крестоносных болванов“, проявленной ими при дележе империи. Само по себе приведенное место Никиты Хониата очень красочно, но этот отрывок не имело смысла помещать в „Сборнике“, так как данное известие Никиты Хониата не соответствует действительности. Достаточно заглянуть в акт о разделе империи, чтобы убедиться в том, что здесь не назван ни один из тех городов, ни одна из тех областей, которые фигурируют у Никиты. Это и понятно: если „крестоносные болваны“ действительно знали плохо то, что собирались делить, то этого отнюдь нельзя сказать о венецианцах, которые составляли ровно половину комиссии по разделу (12 человек). Вместо этого известия византийского историка следовало бы лучше поместить известия западных источников, характеризующие отношение крестоносцев к местному населению (мы имеем здесь в виду известия Сикарда Кремонского, Фландрской хроники, Виллардуэна).² Это явилось бы практической реализацией справедливого утверждения Б. Т. Горянова о необходимости разоблачать буржуазных историков, идеализирующих латинское завоевание и пытающихся создать „миф о благополучном положении масс при Латинской империи“ (стр. 231).

¹ *Diplomatarium Veneto-Levantinum, sive Acta et Diplomata res venetas, graecas atque Levantis illustrantia, Venetiis, 1880, p. 4.*

² *Sicardi episcopi Chronicon. Muratori, SS, v. VII, col. 620; G. Villehardouin. La conquête de Constantinople, chap. LXVII, ed. A. Pauphilet. „Historiens et chroniqueurs du moyen age“, Paris, 1938, p. 141; Chronique de Flandre, cap. 9.*

В том же четвертом разделе, думается, не совсем удачно выбраны документы для характеристики исключительного положения, каким пользовались в Византии иноземные купцы: здесь помещены грамоты Андроника Палеолога — испанским купцам и правителя Пелопоннеса — Фомы Палеолога — купцам дубровницким (стр. 269). Было бы, однако, лучше привести договоры византийских правительств с генуэзцами и венецианцами, например Нимфейский трактат и договор с венецианцами от 1268 г. или одно из его последующих воспроизведений.¹ Отметим, что гораздо более правильный в этом отношении принцип подбора документов выдержан в третьем разделе „Сборника“: составитель его, М. В. Левченко поместил здесь не договорные грамоты с пизанцами или генуэзцами, роль которых в Византии в XII в. не была еще особенно значительной, а грамоту императора Мануила венецианцам (стр. 214).

В четвертом разделе было бы полезно также поместить некоторые выдержки из трактата Бальдуччи Пеголотти, характеризующие торговые операции Константинополя и некоторых других греческих городов в XIV в.²

Перевод избранных составителями „Сборника“ текстов сделан тщательно, в общем хорошим языком, и не вызывает серьезных возражений по существу. Можно указать лишь на отдельные мелкие промахи или недостаточно точную работу редакторов, допустивших различную передачу одних и тех же слов и терминов в разных отрывках. Вот несколько примеров.

В документе № 19 (перевод Ф. И. Успенского) второго раздела „Сборника“ налоговый термин *jugum* передан как „ярмо“, а в документе № 20 этот же термин в переводе Н. В. Пигулевской оставлен в его греческой форме „югон“ (стр. 26—27). Подобным же образом греческий термин для обозначения главы венецианского правительства *δοῦξ* передается на русский язык то как „дука“ (стр. 215), то как „дукс“ (там же), то, наконец, как „дож“ (стр. 240), хотя именно последняя форма — „дож“ — является общепринятой в русской исторической литературе. Б. Т. Горянов в документе № 18 четвертого раздела „Сборника“ греческое *τῶν κεφαλῶτικῶν* переводит словом „чиновники“; тот же термин в документе № 20 передан более точно — „сборщики поголовной подати“ (стр. 260, 261). Греческое *πράκτορες* Б. Т. Горянов то оставляет без перевода („практоры“), то передает этот термин как „сборщики податей“ (стр. 263, 264).

Переводы, заимствованные из старой книги М. М. Стасюлевича („История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых“), хотя и подверглись некоторым поправкам, но отредактированы они недостаточно тщательно. Это в особенности касается „Иерусалимских Ассиз“.

Так, в переводе главы второй этого памятника французское *la Court de la BORGESIE* передано по-русски как „Палата граждан“ (стр. 243). Сомнительно, чтобы это было правильно: французскому *borgesie* соответствует итальянское *borghesi* или латинское *burgenses*, но отнюдь не *cives*, — следовательно, лучше было бы назвать это отделение курии Иерусалимского короля „Курией для горожан“ или „Палатой для горожан“. Равным образом лучше было передать по-русски французское *la Haute Court* не как Верхняя, а как „Высокая Палата“ (стр. 243).

¹ FRA DA, v. XIV, p. 64, 65, 84 ss.

² Balducci Pegolotti. La practice della mercatura, ed. A. Evance, Cambridge, 1936, p. 38, 39, 40 ss.

В главе пятой того же текста неясно передано французское *qui ont court... et justice*: „люди, заседающие в палате и суде“ (стр. 245). В какой палате, в каком суде? Текст следовало передать: „бароны, имеющие свою курию и свой суд“. Очень неуклюже звучит перевод М. М. Стасюлевича в такой фразе из Виллардуэна: „Наши получили по крайней мере 400 тыс. марок серебра и более 10 тысяч всякого рода сбруй“ (стр. 240, разрядка наша. — Н. С.).

Плодом крайней небрежности редакторов следует признать и отдельные явные ляпсусы, встречающиеся в „Сборнике“.

В разделе первом „Сборника“ документ № 14 в переводе В. С. Шандровской датирован 296 г., тогда как в тексте документа датой его назван второй год правления императора Домициана, правившего, как известно, не в III, а в I в. (стр. 24).

Совершенно непонятно, почему документ № 23 в разделе четвертом назван документом о „продаже земли родичам“, когда в нем идет речь о продаже частным лицом своего земельного участка монастырю Лемвиотиссы (стр. 265).

III

Приведенные в „Сборнике“ тексты снабжены комментарием частью в подстрочных примечаниях к документам, частью в виде отдельного толкового словаря („Указатель терминов“). По поводу этого комментария следует также сделать несколько замечаний.

В комментарии, данном к термину „актимон“ (стр. 178), говорится: „Актимоны значит неимущие, и, повидимому, они не даром так назывались. У них не было скота и, по всей вероятности, земли“. Но тут же, буквально несколькими строками ниже, говорится о том, что актимоны имели ослов, что актимоны „платят пастбищного за крупный скот по одному милиарисию со штуки, а за овец каждый актимон платит, согласно пропорции, по I номисме со 100, например за 50 овец полномисмы“. Этот комментарий заимствован из работы П. В. Безобразова „Патмосская писцовая книга“¹ и воспроизведен в „Сборнике“ без необходимых оговорок и исправлений.

В „Указателе терминов“, составленном доцентом А. П. Кажданом, некоторые толкования вызывают достаточно обоснованные, как нам кажется, сомнения. Кроме того, в отдельных случаях объяснения тех или иных терминов в „Указателе“ не согласованы с объяснениями тех же терминов, даваемыми в других разделах „Сборника“. Так, в „Указателе“ читаем: „Дулопарики — категория зависимого крестьянства, приближающаяся к парикам“ (стр. 305). Может быть, было бы правильнее сказать иначе: дулопарики — категория париков, приближающаяся к рабам. Так, по крайней мере, понимает этот термин Б. Т. Горянов в своей вводной статье к четвертому разделу документов (стр. 234). Во всяком случае подобное несоответствие не может не смущать внимательного читателя „Сборника“.

В объяснении термина „марка“ (стр. 308) имеется в виду кельнская марка, составлявшая в весовом выражении около 234 г серебра. Мы хорошо знаем стоимость ее в византийских перперах, или солидах для конца XII и начала XIII в. Гунтер Перисский в своей „Константинопольской истории“ говорит: „Перпер это золотая монета, равная по стоимости одной четверти марки“.² Термин марка в документах „Сбор-

¹ „Византийский Временник“, т. VII, 1900.

² Guntherus Parisiensis. *Historia Constantinopolitana*, ed. P. Riant. „*Exuviae sacrae Constantinopolitanae*“, Genevae, 1877, p. 78.

ника“ встречается в описании Константинополя, данном Одоном де Диогило, историком второго крестового похода, — именно в том месте его сочинения, где он говорит о стоимости рубашек в Константинополе. Французский хронист пишет: „Мы покупали рубашку менее чем за 2 денария, а 30 рубашек — за 3 солида без 1 марки“ (стр. 238). Если принять во внимание, что солид и перпер равны между собою (так это отмечено и в „Указателе“), то получится, что 30 рубашек в Константинополе стоили 3 солида без... четырех солидов... Ясно, что в тексте — в самом оригинале или в переводе — имеется какая-то путаница. Таким образом, в данном случае самое объяснение термина дано правильно, но — в отрыве от того текста, который комментируется.

Составителя „Указателя“ можно упрекнуть еще и в том, что он дал толкование не всем терминам, которые встречаются в приведенных документах. Без всякого объяснения оставлены, например, такие слова, как примикирий, практор, протокентарх, простагм, проастий и некоторые другие (стр. 164, 191, 192, 198, 220, 255 и др.).

IV

Весьма важной составной частью „Сборника“ является „Библиография по социально-экономической истории Византии“, которая составлена научными сотрудниками Фундаментальной библиотеки общественных наук АН СССР. Несмотря на то, что этот отдел „Сборника“ скромно назван „Кратким справочником“, библиография почти с исчерпывающей полнотой дает представление об основных изданиях источников по истории Византии, а также и о важнейшей русской буржуазной и советской литературе по этому предмету. Для начинающего изучать историю Византии этот „Краткий справочник“ явится незаменимым пособием.

При всем том следовало бы все-таки несколько пополнить отдельные разделы „Библиографии“, предложенной в „Сборнике“.

Это прежде всего относится к разделу „Классики марксизма-ленинизма“, в котором, как это ни странно, отсутствуют гениальные работы И. В. Сталина о языкознании, имеющие исключительное значение, в частности, для разрешения важных этнических проблем Балканского полуострова.

В список важнейших изданий источников также следовало бы внести некоторые дополнения. Поскольку в списке иностранных изданий источников указаны три тома „Документов по древней истории торговли и государства Венеции“ Г. Л. Тафеля и Г. М. Томаса, охватывающих время до 1299 г., постольку было бы вполне логичным указать также и на продолжение этого издания уже только одним Г. Л. Томасом в известном итальянском собрании источников „*Monumenti editi dalla Deputazione Veneta*“, где даны документы с 1300 г. В Дипломатарии, который мы имеем в виду,¹ содержится большое количество источников, характеризующих именно социально-экономические отношения в поздней Византии.

„Константинопольская история“ Гунтера Перисского в списке источников приведена в издании 1725 г. Было бы лучше указать всю серию мелких повествований, относящихся к истории четвертого крестового похода, изданную П. Рианом.²

Мы уже отмечали, что было бы полезно поместить в разделе документов некоторые тексты из трактата Балдуччи Пеголотти; это

¹ Венецианско-левантский Дипломатарий назван выше, стр. 274, прим. 1.

² См. выше, стр. 276, прим. 2.

сочинение также должно было бы быть указано и в перечне источников для истории хозяйственной жизни Византии в XIV в.

В списке исследовательских трудов по истории Византии составители стремились дать лишь наиболее важные работы русских ученых, однако не всегда выбор составителей „Краткого справочника“ достаточно продуман. Укажем, в частности, что в списке фигурирует работа Б. А. Панченко „Латинский Константинополь и папа Иннокентий III“, но отсутствует такое сочинение, как работа Т. Флоринского „Южные славяне и Византия в XIV в.“ (СПб., 1882); указана спорная по своему содержанию работа Ф. И. Успенского „Уклон консервативной Византии в сторону западных влияний“, но не названа его диссертация, посвященная истории возникновения второго Болгарского царства и имеющая большое значение для характеристики социально-экономических отношений в Византии на стыке XII и XIII вв., равно как и рецензия на нее В. Г. Васильевского.¹

Следует подчеркнуть, что составители „Библиографии“ правильно взяли курс на более или менее подробное указание работ русских историков и ограничились только самыми основными из сочинений иностранных ученых.

Несколько слов по поводу географических карт, помещенных в „Приложениях“. Прежде всего следует выразить сожаление по поводу того факта, что составители не поместили ни одной карты для истории Византии XII и XIII вв.

Карты, помещенные в „Сборнике“, выполнены с большою тщательностью. Они в основном правильно изображают те географические ситуации, которые составители имели в виду представить.

Вызывает сомнение, однако, карта Византии в IX и X вв. Не подлежит сомнению, что при императорах Македонской династии Сербия во всяком случае находилась в вассальной зависимости от Византии: спор ведь идет только о том, какая это была зависимость — реальная или номинальная. Следовало бы поэтому дополнить карту указанием на территории, находившиеся в вассальной зависимости от Византии.

Карта Константинополя VI—XIV вв. была бы еще более полезной, если бы она воспроизводила не только обычное деление на основные районы и указывала основные памятники архитектуры и искусства, но давала бы названия важнейших улиц, хотя бы той же Месы, и некоторых кварталов, которые так часто по разным поводам упоминаются в источниках, — в частности, тех, что приведены в самом „Сборнике“ (например, кварталы вдоль Золотого Рога). Карту можно было бы дать в этом случае в несколько большем масштабе.

На этом рассмотрение отдельных частей „Сборника“ можно закончить.

„Сборник“ издан не плохо во всех своих разделах, но в академическом издании хотелось бы видеть меньше погрешностей в написании отдельных греческих слов, — мы имеем в виду главным образом произвольную замену ударений знаками придыхания.

В заключение еще раз считаем своим долгом заметить, что „Сборник“ крайне необходим историческим факультетам и историческим отделениям историко-филологических факультетов наших вузов.

Было бы очень хорошо, если бы примеру византиноведов последовала также и группа историков-славистов АН СССР, так как при изучении средневековой истории славянских народов преподаватели

¹ ЖМНП, 1879, ч. 204.

и студенты встречаются с не меньшими, если не с большими трудностями в отношении источников, чем при изучении истории Византии.

Н. П. Соколов

НОВЫЕ РАБОТЫ СОВЕТСКИХ ВИЗАНТИНИСТОВ

М. В. ЛЕВЧЕНКО. СИНЕЗИЙ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ И ЕГО РЕЧЬ „О ЦАРСТВЕ“

Ученые записки ЛГУ № 130, вып. 18. Ленинград, 1951, стр. 222—249.

Проф. М. В. Левченко в своей небольшой, но исключительно ценной статье дал марксистскую характеристику личности и взглядов видного политического деятеля начала V в. — Синезия Киренского, одного из тех крупных политиков рабовладельческого общества, которых выдвигали города Востока накануне краха античного мира. На конкретном материале автор статьи убедительно опровергает нелепый тезис эволюционистской буржуазной историографии о том, что переход от античности к средневековью не носил якобы революционного характера, что имело место будто бы лишь постепенное перерождение античного общества и т. п. В работе М. В. Левченко Синезий представлен как убежденный рабовладелец, рьяно защищавший устои рабовладельческого общества. Синезий ясно сознавал опасность совместного революционного выступления рабов и „варварских“ дружин и призывал напрячь все силы гибнущего общества, чтобы сохранить прежний порядок. Свои политические взгляды Синезий высказал в речи „О царстве“.

Статья М. В. Левченко не свободна от недостатков. К их числу следует отнести то, что в ней не совсем четко охарактеризовано социальное лицо Синезия. М. В. Левченко считает Синезия представителем родовой (стр. 224) (может быть — родовитой?) знати. Но этим нельзя определить социальную принадлежность Синезия. Аристократия в период краха рабовладельческого строя не была монолитной. Существовала феодализирующаяся земельная аристократия, мало заинтересованная в судьбах города, — аристократия, представители которой, подобно Кассиодору и Сидонию Аполлинарию, легко уживались с „варварами“ и которая могла слиться с „варварской“ знатью в процессе феодализации. Синезий не принадлежал к этой категории восточноримской знати. Более того: он чувствовал непримиримую вражду к аристократам такого рода (к ним относился Кесарий). Синезий относился к той части землевладельческой знати, которая была в то же время и городской знатью, связанной с традициями полиса. Она видела в Римской империи не власть чужеземных завоевателей, а считала ее союзом городов. М. В. Левченко вряд ли прав, полагая, что взгляды Синезия на государство коренным образом отличались от ранее господствовавших среди греков представлений о Римской империи (стр. 241). Достаточно сравнить политические взгляды Синезия на Римскую империю с воззрениями ратора Элия Аристида.

Думается также, что для более полного уяснения вопроса о социальной природе взглядов Синезия, как выразителя политических настроений определенной группы городской знати, следовало бы, кроме того, сопоставить мировоззрение ратора Птолемаидского со взглядами Либания, его старшего современника, все сочинения которого носят ярко выраженный политический характер. Синезий, подобно Либанию,

выражал взгляды декурриона крупных городов. Едва ли можно объяснить позицию Синезия тем, что он не нес повинностей декурриона (ср. стр. 224 и стр. 245). Во всяком случае, в момент составления речи „О царстве“ Синезий выполнял чрезвычайно разорительную и требующую тяжелого личного труда литургию — *προσβεία*.

Следовало бы упомянуть о деятельности Синезия по защите города: это характеризовало бы его лучше, чем упоминание о его будущей епископской деятельности. М. В. Левченко, кажется нам, совершенно прав, отвергая взгляд о зависимости Синезия от Диона, — Синезий мог иметь взгляды, самостоятельно развившиеся под влиянием современных ему политических событий.

Кроме речи „О царстве“ М. В. Левченко широко использует другое произведение Синезия — *De Providentia*, — в котором описываются события большой исторической значимости — здесь обрисована та сложная ситуация, которая существовала в Константинополе в начале 400 г.: готы получили отпор там, где, казалось, они были наиболее сильны. Гайна был в состоянии предупредить Одоакра на 75 лет, но ему не удалось захватить власть.

К сожалению, М. В. Левченко не остановился на вопросе об участии народных масс в событиях 400 г., между тем, Синезий сообщает об этом много важных данных. М. В. Левченко подробно характеризует политические взгляды и мировоззрение рабовладельческой знати, но совсем не затрагивает вопроса о настроениях народных масс. В представлении М. В. Левченко, массы выполняли только пассивную роль: рабовладельцам удалось „разжечь религиозный фанатизм масс и натравить их на ариан-готов — еретиков“ (стр. 248). Мы полагаем, что М. В. Левченко не прав, считая религиозный фанатизм единственной причиной выступления народных масс против готов. Ведь в начале деятельности Иоанна Златоуста константинопольские массы были настроены сочувственно к арианам. Почему же теперь они так возненавидели готов? Конечно, готские вожди были честолюбивыми, продажными насильниками. Но дело было не только в этом — городские массы понимали возможные последствия готского завоевания, ужасы, которые оно несло с собою. Константинополь, захваченный „варварами“, превратился бы в развалины. Представители знати (типа Кесария) могли бы сговориться с готами; но ремесленники, мелкие торговцы были бы перебиты, уведены в плен, — именно такая участь постигла позднее население городов на Западе. К тому же в Константинополе еще были живы традиции античного полиса: городские массы, сами подвергавшиеся эксплуатации, дорожили, однако, достижениями античной культуры и были патриотами своего города. М. В. Левченко приводит рассказ Синезия о том, как нищенка, видя, что готы вывозят из Константинополя ценности, встревожилась за судьбу города. Почему старуха, не имевшая ничего, кроме деревянной чашки для сбора милостыни, была так обеспокоена будущим восточноримской столицы? Потому, что народным массам не безразлична была судьба города. Можно даже сказать больше: городским массам не безразлична была судьба античной культуры в целом. Феодализовавшаяся знать могла не тревожиться за судьбы античной культуры — для этой знати будущность была в ее поместьях, в замках; городская культура не представляла для нее интереса. Аристократы типа Синезия защищали античную культуру своекорыстно, — поскольку она обслуживала их интересы, как рабовладельцев. Только широкие массы горожан проникнуты были подлинным „античным патриотизмом“, который они и проявили как

в 378 г., спасая Константинополь от Фритигерна, так и в 400 г., спасая его от Гайны. Именно народные массы избавили Константинополь от угрожавшей ему гибели. Правда, будущее принадлежало феодализму, — но феодализм не обязательно должен был утвердиться в условиях полной ликвидации города, как это было, например, в Меролингской Галлии. Феодализм мог утвердиться и при сохранении большого города, который после краха рабовладельческого общества мог превратиться из античного полиса в типичный средневековый город — эмпорию. Кроме „меролингского“ пути складывания феодального строя был и другой, менее тягостный для городского населения, не связанный с уничтожением античного наследия. Отстояв от гибели большие города, такие, как Константинополь и Фессалоники, городские массы сохранили для будущего часть тех культурных ценностей, которые были созданы в рабовладельческий период, — и этим помогли ускорить развитие производительных сил в дальнейшем. Таково, на наш взгляд, историческое значение тех событий, свидетелем которых был Синезий.

Статья М. В. Левченко выиграла бы, если бы автор проследил, что из программы, выдвинутой Синезием в речи „О царстве“, было претворено в жизнь после победы его единомышленников (т. е. в правление Анфимия „Великого“). Отметим попутно одну неточность на стр. 245: Иоанн Златоуст назывался не патриархом, но архиепископом Константинопольским. В целом статья М. В. Левченко представляет большой интерес и принесет пользу не только византинистам, но и историкам, работающим в области изучения истории древнего мира.

М. Я. Сюзюмов

А. П. КАЖДАН. РАБЫ И МИСТИИ В ВИЗАНТИИ IX—XI веков

Ученые записки Тульского государственного педагогического института, вып. 2, Тула, 1951, стр. 63—84.

В своей работе А. П. Каждан предпринял интересную попытку установить, насколько значительным был удельный вес рабовладельческого уклада в Византии IX—XI вв. Автор поставил перед собой задачу собрать данные о рабах и мистиях, имеющиеся в источниках IX—XI вв. Необходимо отметить, что А. П. Каждану удалось собрать довольно большое количество известий о применении труда рабов в крупных хозяйствах византийской землевладельческой знати. О значительных пережитках рабовладельческих порядков в Византии до сих пор говорилось лишь в общей форме: конкретные данные, которые бы подтверждали существование этих пережитков, почти не приводились. Теперь следует считать установленным факт использования рабов в качестве рабочей силы в сельском хозяйстве IX—XI вв. Этим опровергаются все попытки рассматривать сохранение рабства в период раннего феодализма в качестве элемента бытовой роскоши.

А. П. Каждану удалось также собрать интересный материал о мистиях, разбросанный в нарративных источниках, законодательных памятниках и агиографической литературе, и установить, что труд мистиев широко применялся в разных отраслях хозяйства этого времени. Важно, в частности, наблюдение А. П. Каждана об отсутствии сведений об использовании мистиев в крупных имениях светской землевладельческой провинциальной знати. Несомненно, что работа А. П. Каждана представляет интерес для советского византиноведения.

Однако некоторые положения автора являются, на наш взгляд, спорными и вызывают недоумение.

А. П. Каждан а priori тесно связывает труд рабов с трудом мистиев, считая сохранение того и другого пережитком рабовладельческого строя (стр. 63, 79). Однако можно сомневаться, что наемный труд в условиях раннего феодализма генетически связан именно с рабовладельческими отношениями. Исследования академика Е. А. Косминского доказывают, что наличие таких безземельных или малоземельных работников, *qui de labore manuum victus perquirunt*, вполне совместимо с феодальным способом производства.

Сомнителен вывод автора о полном исчезновении мистиев после XI в.: упоминание о *μισθάρως* встречается в документах более позднего времени.

Несколько неясным представляется самый предмет исследования. Если изучается положение лиц наемного труда, то следовало бы не ограничивать исследование одним термином *μισθός*, но присоединить и данные относительно употребления других терминов и выражений о труде за плату. Если же исследование ограничивается терминами *μισθός* и *μισθάρως*, то необходимо было бы установить связь принятого автором значения термина с другими пониманиями термина *μισθός*.

У автора наблюдается тенденция уподобить положение византийского мистия положению средневекового цехового подмастерья на Западе. Вряд ли можно с этим согласиться. Желая подвергнуть сомнению значение данных „Книги Эпарха“, А. П. Каждан приводит пример из жития Илии Нового о мистии, нанявшемся на длительный срок. Однако этот пример явно неудачен: в житии речь идет не о мистии, а об ученике; разумеется, мальчиков отдавали на обучение не на месяц, а на гораздо более значительный срок. В Византии, по нашему мнению, не было подмастерья, тесно связанного с мастером.

Автор не различает по смыслу слово *μισθός* от слова *μισθάρως*; между тем, значение второго термина шире первого. Мистий означает только *mercennarius*, тогда как слову мистот в латинских текстах соответствуют и *mercennarius*, и *colonus*, и *locator*, и *conductor*. При этом, в связи с разбором вопроса о значении термина „мистий“ (стр. 79 сл.) необходимо было бы отметить, что закон Анастасия никакого отношения к мистиям не имеет и что он приведен Е. Э. Липшиц („Византийское крестьянство и славянская колонизация“, „Византийский сборник“, М.—Л., 1945, стр. 126—129) в главе о мистиях по явному недоразумению.

Стремился ли автор выяснить правовое положение рабов и мистиев в византийском обществе IX—XI вв.? В ряде мест своей работы он, как кажется, делает такую попытку (стр. 71, 72, 79). Но в этом случае совершенно непонятно, почему автор не привлек документов действующего права того времени. В исследовании А. П. Каждана совершенно не использованы „Василики“, на которые автор смотрит как на памятник, отличавшийся „книжностью и архаичностью терминологии“ (стр. 80), и которые на самом деле были опубликованы в X в. в качестве действующего права. Именно в „Василиках“ можно найти много интересного материала о правовом положении рабов и мистиев X в. Совершенно недостаточно использован также такой яркий источник, как Пира, вовсе не использован включенный в „Василики“ свод морских законов. Кроме того, из поля зрения автора выпали сведения о рабах, имеющиеся в нашей летописи — материал первостепенной важности (договоры с греками относятся именно к X в.; статьи, в которых затрагивались вопросы о рабах, касались и византийских рабов).

Почти полностью игнорируя юридические документы, А. П. Каждан ограничивается по преимуществу случайными упоминаниями о рабах и мистиях в агиографической, нарративной литературе и отдельных новеллах; он обходит основной материал, в котором содержится юридическая теория того времени и подробно излагаются права тех или других социальных групп византийского общества. Этим объясняются, думается, отдельные, недостаточно точные, а иногда и неверные утверждения автора.

Неправильно утверждение о том, что раб не нес ответственности за свои преступления (стр. 71). В „Василиках“ приводится ряд случаев, в которых только раб, а не его господин, отвечал за совершенные им (рабом) поступки. Неверно утверждение автора, что по Юстинианову законодательству сын рабыни и свободного признавался свободным (стр. 74) — *partum ancillae matris sequi conditionem, nec statum patris in hac specie considerari...* Вызывает недоумение положение о том, что только с XI в. рабов стали привлекать в качестве свидетелей (стр. 71). И в Юстиниановом праве и в „Василиках“ предусматривались случаи использования показаний рабов. По воззрениям того времени считалось предосудительным лишь показание раба против его господина (да и то не всегда). В этом смысле нужно понимать приведенный на стр. 71 пример со спафарокандидатом в Пире.

Неточно утверждение, что „раб мог вступать в брак со свободными“ (стр. 72). Это было запрещено законами. Новелла Льва VI, на которую ссылается автор, давала свободному право выкупить рабыню, освободить ее и только затем жениться на ней; при этом выкупить рабыню можно было также отработкой выкупной суммы. Не соответствует действительности и следующее положение: „Законодательство Василия I ограничивает и без того жалкие права рабов... , запрещая рабу выступать на суде, что не было прямо сформулировано в Юстиниановом законодательстве“ (стр. 74). И Юстинианово законодательство и „Василики“ подробно указывают, в каких случаях раб мог возбуждать дело перед судом против третьих лиц помимо своего господина.

Нельзя не отметить некоторой тенденциозности автора в подборе текстов. Так, например, А. П. Каждан выдвигает предположение, согласно которому в источниках старым термином „рабы“ обозначаются иногда „более широкие круги зависимых людей“ (стр. 66). Это неправильно, — во всех юридических документах IX—XI вв. под термином ойкет понимается только раб. На стр. 75 тенденциозно сформулирован смысл 38-й новеллы Льва VI: Лев даровал императорским рабам не право владения, как утверждает автор, а право собственности (*χρηιότης* — не *possessio*, а *proprietas*). Вызывает возражение отождествление клириков с зависимыми крестьянами (стр. 77). Отрывок из текста завещания Воилы приведен в тенденциозной передаче: никакого „ограничения“ свободы волюнотпущенников, о котором пишет А. П. Каждан (стр. 76—77), не было; Воила персонально назначил пятерых лиц на церковные должности, притом эти клирики по завещанию должны были получать рогу из доходов имения. Разумеется, все низшее духовенство и все церковные служащие выплачивали епископу некоторую сумму, но эти обычные взносы — не оброк, равно как выполняемые клириками *οφφικια* — не барщина... О положении клириков как должностных лиц церкви, дает ясное представление 49 новелла Иоанна Комнина.

Конечно, могло случиться, что крепостной становился священником, но из этого не следует, что назначение священником было ограничением свободы отпущенного на волю раба.

Иногда автор тенденциозно передает тексты для того, чтобы доказать, что рабы использовались в качестве рабочей силы в основном лишь крупными землевладельцами. На стр. 68, где речь идет о продаже пленных, автор истолковывает новеллу Иоанна Цимисхия таким образом, что пленные продавались будто бы только архонтам. Между тем в 25 новелле Цимисхия говорится также о продаже воинами пленных и своим товарищам, рядовым стратиотам. Следовательно, рабы направлялись также и в мелкие хозяйства простых стратиотов. На стр. 73 А. П. Каждан указывает, что, согласно показанию Кедрина, пленные арабы, захваченные на Крите, были направлены работать на поля. На самом деле текст хроники говорит о том, что рабов было так много, что ими наполнены были и городские дома и поля. Из 38 новеллы Льва VI не видно, чтобы крупные землевладельцы не были заинтересованы в предоставлении своим рабам права собственности на лично ими и их трудом приобретенные вещи. Эта новелла могла быть выгодной для архонтов и других крупных землевладельцев в той же мере, что и для императора.

Неясно, из чего следует, что византийцы в X в. считали труд мистиев непроеизводительным (стр. 83). Из приведенного автором текста вытекает только то, что мистий был временным работником и в силу этого не был заинтересован в сохранении имущества своего работодателя. Однако едва ли можно думать, что наемный пастух работал хуже, чем пастух несвободный. Нельзя согласиться с утверждением А. П. Каждана, будто византийская церковь выступала, как правило, против рабовладения (стр. 74). Церковь никогда не осуждала институт рабовладения, но демагогически признавала отпуск рабов на волю благочестивым делом. Вызывает сомнение, почему Феодосий Печерский отражал взгляды византийского духовенства, а не окружающей его социальной среды Киевской Руси (стр. 74).

Все эти недостатки, однако, не могут поколебать общей оценки работы А. П. Каждана, содержательной и полезной для всех занимающихся социально-экономической историей Византии.

М. Я. Сюзюмов

ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСИ АРМЯНСКИХ РУКОПИСЕЙ XIV века. СОСТАВИЛ А. С. ХАЧИКЯН

Институт истории Академии Наук Армянской ССР. Материалы по истории армянского народа. Книга вторая. Издательство АН Арм. ССР. Ереван. 1950 г. XXXIII + 757 стр.

Армянские источники содержат материал по истории Византии, дополняющий данные византийских памятников; этот материал сплошь да рядом не использован в византийской историографии. Внимание буржуазных историков Византии привлекали преимущественно произведения армянских историков и хронистов, государственные и церковные документы и т. п. Иначе говоря, буржуазные историки интересовались материалами, созданными преимущественно представителями господствующих классов Армении или же выразителями их идеологии. Не отрицая весьма существенного значения многих из указанных источников, следует вместе с тем отметить, что отдельные стороны живой действительности или вовсе не находили в них отражения, или же

искажались в соответствии с требованиями господствующей идеологии. Эти источники содержат мало фактов о жизни народных масс, об экономическом быте Армении, об идеологии эксплуатируемых классов населения и т. д. Если буржуазных византинистов этот недостаток определенных категорий армянских источников не смущал, то перед советскими историками Византии и Армении это обстоятельство выдвигало задачу поисков таких новых источников, которые могли бы восполнить указанный пробел.

Рецензируемое издание и является одной из попыток восполнить этот недостаток. Хотя это издание имеет своей целью расширение круга источников для изучения истории прежде всего армянского народа, книга эта имеет большую ценность и для историков Византии последнего периода, и для историков Ближнего Востока. В книге собрано 845 пометок и записей на полях, сделанных в XIV в. в армянских рукописях. Из них 513 записей извлечено из рукописей, хранящихся в Государственном хранилище рукописей при Совете Министров Армянской ССР (в Матенадаране), и 332 записи — из давно опубликованных, а также ненапечатанных описаний рукописей. Надо отметить, что подавляющая часть записей опубликована в настоящем издании впервые.

Составителем сборника Л. С. Хачикяном тексту записей предпослано большое введение, по существу, являющееся общим исследованием изданного им материала. Автор введения указывает, что сопоставление с источниками другого рода приводит к выводу о достоверности записей, заключающих известия о событиях, современных авторам этих заметок. Очень важно заключение Л. С. Хачикяна о социальном составе авторов записей, которые были, как он показал, выходцами из трудовых слоев общества или же представителями низшего духовенства. Они видели жизненные невзгоды неимущих кругов населения, которые порождались нашествиями иноземных врагов, обложением и поборами, установленными захватчиками Армении, и делали в свободных местах рукописей свои записи, руководствуясь не официальными предписаниями, а живым сочувствием к бедам своих собратьев. Вот почему в этих записях порой отражены данные о повседневном быте народа, отсутствующие в трудах историков и хронистов. Благодаря этому записи дают более объективную оценку событиям, чем труды историков, хронистов и писателей, принадлежавших к господствующему классу.

Имеется еще одно обстоятельство, делающее материалы, представленные в настоящем издании, особенно ценными — ведь от XIV в. исторические произведения на армянском языке дошли до нас в очень незначительном количестве, так как большая часть рукописей погибла в результате нашествия орд кочевников. Вместе с тем Л. С. Хачикян справедливо указывает на известный трафарет в этих записях. Авторы, скованные церковной идеологией, не были в состоянии понять действительные причины тех или иных явлений современности. Причины бедствий, например, они связывают с „греховностью“ человечества и т. п. Все ужасы монгольского ига авторы записей расценивают как кару за неверие и прегрешения.

Записи дают весьма убедительный материал о беспощадной эксплуатации и жестокостях монгольских властителей. Богатые города Армении — Ани, Карс, Хлат, Маназкерт, Ван, Арчеш, экономическое значение которых ясно не только по армянским, но и по византийским источникам, — в XIV в. потеряли большую часть своего населения,

которое постепенно эмигрировало в Киликию, Крым и в другие края. Приходил конец и власти светских феодалов Армении. Относительную устойчивость сохранила армянская церковь, приспособившаяся к требованиям новых правителей.

Такая обстановка в Армении напоминала то, что происходило в Византийской империи. И, конечно, записи людей XIV в., дающие материал для истории Армении, косвенно имеют немалое значение для освещения как внутренней истории Византии, так и политики империи на Востоке.

Записи, подчас очень скудные, дают в целом ясную картину тяжелого податного обложения при монгольских эльханах. Они представляют как бы летопись бесконечных нашествий „зверей в образе человека“, в особенности, — орд Тамерлана. В результате всех бедствий, в том числе голода и эпидемий, население покидает насиженные места. Даже в Сарай-Берке, столице Золотой Орды, оказались беженцы — армяне, о чем свидетельствует запись 1319 г. Однако в далекие края удастся бежать не всем — преимущественно купечеству и лишь отчасти ремесленникам.

В своем исследовании Л. С. Хачикян указывает на явление, характерное, впрочем, не только для одной Армении: армянские феодалы всячески стремились спасти свое достояние при поддержке церкви. Они вступали в ряды сановного духовенства и таким образом сохраняли свои права на земли и всякого рода имущество. Однако и это не всегда спасало феодалов. Еще в правление Газан-хана (1295—1304 гг.) принявшие ислам монголы усилили бремя податного обложения и распространили его на армянскую церковь. Записи дают сведения о сооружении монастырских укреплений, о высших учебных заведениях монастырей Гладзора и Татева, об отдельных видных представителях монашеской идеологии, о писцах и т. д. Очень существенны данные записей о названиях местностей, относительно которых не дошло до нас никаких известий в исторических трудах армянских авторов. Впервые из этих записей приходится узнавать о населенных местах, от которых не осталось ровно никаких следов. В записях упомянуто приблизительно 500 населенных пунктов. Сведения писцов рукописей о себе дают возможность получить представление о тяжелой жизни крестьянства, так как писцы почти поголовно были выходцами из крестьян.

Некоторые записи представлены в художественном изложении, а порой и в стихах. Так, например, писец Тума в красочно-стихотворной форме описывает нашествие Тамерлана, сообщая, что его орды „перебили беспощадно армянский и грузинский народ“, и восклицая: „какое земное существо может рассказать о злодеяниях Тимура?“ Эта запись была сделана писцом Тумой в 1391 г. на рукописи поэта Григора Нарекаци (X в.), которую Тума переписал в Ване.

Собиранием рукописных записей еще в XVIII—XIX вв. занимались видные представители арменоведения, среди которых следует упомянуть имена М. Чамчяна, Л. Алишана, Г. Пиркалемяна и Г. Срвандзтяна. Благодаря им спасены многочисленные материалы записей, извлеченных из рукописей, варварски уничтоженных султанскими башибузуками в Западной Армении во время империалистической войны 1914—1918 гг. Но записи сохранены и составителями описаний армянских рукописей, хранящихся в ряде стран, и в первую очередь в СССР. В статье Л. С. Хачикяна указывается весь этот материал, в той или иной степени использованный при составлении настоящего сборника.

записей. Однако основная часть материала Л. С. Хачикьяном извлечена непосредственно из рукописей Матенадарана.

Трудным делом было определение хронологии записей. Известно, что в армянских источниках встречается хронология различных систем. Вследствие этого текстологу приходится наталкиваться на большие затруднения при определении дат. Составителю удалось установить известное единство в датировке записей, что придает всему заключенному в сборнике материалу последовательность. С филологической стороны тексты подготовлены весьма тщательно. Три указателя — предметный, имен географических и личных — составлены исчерпывающе. В предметном указателе можно найти ссылки на материалы по отдельным темам, как, например, о нашествиях, о бедствиях, о ремесле писцов, о должностях и титулах, и т. д. Предметный указатель как бы намечает, на что может рассчитывать исследователь, обращающийся к настоящему сборнику источников.

Материал записей в целом убедительно показывает, сколь губительны были последствия нашествий монгольских орд на территории Армении, и, в частности, в тех ее областях, которые когда-то входили в состав Византийской империи. Очень слабые связи между Киликийской Арменией и Византийской империей почти не отражены в записях. Это и понятно. Киликийская Армения доживала свой век; ее конец наступил в 1375 г. Но в записях заметно бросается в глаза назойливое стремление папских агентов, как их называют авторы записей, — „фра“, проникнуть во все дела Армении.

Из записей видно, что в XIV в. делается немало переводов разнообразной литературы с латинского. Так, например, в записи, сделанной в рукописи перевода „Толкований философских книг“, автором которых назван Петр Арагонский, переводчик Акоб Крнеци отмечает заслуги некоего иеромонаха Иоанна, который объединил латинских и армянских деятелей для перевода „многих душеполезных и просвещающих книг“ (1344 г.). Другая запись на рукописи евангелия (1335 г.) показывает, что переписчик работал в Ломбардии в монастыре „Сан-Пенет“. В записи на „Книге молний“ священника Беды отмечается, что перевод сделан с латинского в Кафе (1356 г.). Но старые связи с Византией все же не порываются. В рукописи „Толкования грамматики Исаяи Нисского“ писец Аствадатур указывает, что работа выполнена в Константинополе (1360 г.), „в стране греческой“. В рукописи же „Толкований вселенских посланий“ Саргиса (Сергия) Благодатного писец Павхос упоминает, что писано „в городе Халатан супротив Константинополя, в стесненное и трудное время, когда турок осаждал нас и Стамбул“ (1398 г.).

Перечисленные выше записи и многие другие содержат материал, характеризующий экспансию папства, стремившегося проникнуть в Армению, равно как и известия о натиске тюрко-монгольских завоевателей с Востока.

Составитель сборника указывает, что им изучен весь рукописный материал за исключением рукописей, хранящихся в Ленинграде. Об этом приходится очень сожалеть, так как в Ленинграде имеется довольно ценная во многих отношениях коллекция армянских рукописей. Хотя составитель полагает, что этот недочет можно будет исправить в дальнейшем, включив соответствующий материал, если он будет найден, в подготовляемый им сборник записей XV в., следует все же признать, что пренебрежение ленинградскими рукописями ничем не оправдано.

Материал, представленный в настоящем сборнике, относится к различным географическим пунктам, а авторы записей работали иногда в местностях, весьма удаленных от Армении. Исследователю настоящего материала очень помогла бы карта с нанесением на нее тех точек, где были сделаны записи.

Издание памятных записей XIV в. обогащает советскую историческую науку новыми, очень интересными данными по истории СССР, Византии и Переднего Востока. Следует пожелать, чтобы были выпущены материалы такого рода, относящиеся и к последующим векам.

И. К. Кусикьян

М. МАТЬЕ и К. ЛЯПУНОВА. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТКАНИ КОПТСКОГО ЕГИПТА

Государственное издательство „Искусство“. М.—Л., 1951, стр. 252,
в том числе 48 таблиц.

Опубликованная издательством „Искусство“ книга М. Э. Матье и К. С. Ляпуновой „Художественные ткани коптского Египта“ представляет выдающееся явление в советской искусствоведческой литературе: в сущности она является первым нового типа научным каталогом музейных собраний, ставящим задачи не только публикации и формального описания памятников, но и цели настоящего исторического исследования вещественного материала, с широким привлечением письменных источников, использованных с позиций марксистско-ленинской методологии¹.

Одно из богатейших в мире собраний памятников так называемого коптского Египта, хранящееся в Эрмитаже, до настоящего времени почти не было опубликовано. Несмотря на серьезные трудности для исследования, объясняемые, в частности, дефектами методики археологических раскопок конца XIX в. (буржуазные исследователи пренебрегали точной фиксацией условий находки памятников), этот исключительно многообразный по своему составу материал дает возможность поставить, а в некоторых случаях и разрешить ряд интереснейших исторических вопросов.

Памятники Египта, особенно хорошо сохранившиеся благодаря климатическим условиям этой страны, позволяют охарактеризовать разные стороны быта и различные области ремесла переломного этапа в истории Египта, периода ломки рабовладельческого строя и становления нового — феодального: керамика, ткани, изделия из кожи, бронзы, кости, каменные рельефы, надписи и пр. являются ценнейшим источником для истории III — VII вв. н. э.

Авторы рецензируемой книги — исследователи коптской культуры, в частности искусства, известные как по своим работам обобщающего характера², так и по специальным статьям, посвященным отдельным

¹ В известной мере ей близка по характеру издания книга К. В. Тр е в е р „Памятники греко-бактрийского искусства“ (М.—Л., 1940), представляющая собой первый том серии „Памятники культуры и искусства в собраниях Эрмитажа“.

² М. Э. Матье и К. С. Ляпунова. Греко-римский и византийский Египет. Путеводитель по выставке, Л., 1939. Их же. История техники эллинистического, римского и коптского Египта (в кн. „Очерки по истории техники древнего Востока“, М.—Л., 1940).

группам памятников¹. Некоторые вопросы, освещаемые в вводных главах работы, были уже намечены в этих предварительных статьях.

Книга делится на две основные части: первую — обобщающую, рассматривающую коптские ткани как памятники культуры, и вторую — представляющую собственно каталог, снабженный иллюстрациями. Первая часть состоит из четырех глав: I. Коптский Египет и изучение памятников его культуры. II. Техника коптских тканей. III. Древнеегипетские традиции в коптском искусстве. IV. Сюжеты коптских тканей V века.

В первой главе (стр. 3—19) дается краткая, но яркая картина исторических судеб Египта со времени Александра Македонского до VI в. н. э., главным образом в IV—VI вв. н. э. Особое внимание при этом уделяется вопросам идеологии, процессам ломки старой надстройки и формирования новой; подчеркивается длительное сохранение элементов культуры древнего Египта, испытавшей на себе влияние эллинистической, а позднее христианской идеологии. Следуя основным положениям работы И. В. Сталина „Марксизм и вопросы языкознания“, авторы вскрывают на конкретном историческом материале активную роль надстроечных явлений рассматриваемого периода и указывают на обычно игнорируемое буржуазной наукой своеобразие путей развития различных народностей (в частности, египетской), входивших в состав древних и средневековых государственных объединений. Следует всячески приветствовать также попытку авторов определить социальную сущность различных форм идеологии, выяснить классовые корни борьбы язычества и христианства, а также так называемых еретических учений, имевших столь широкое распространение в Египте. Плодотворна, в частности, мысль о сохранении древнеегипетских традиций в идеологии сепаратистски настроенных кругов египетской знати; позднее те же тенденции нашли свое отражение в ересях. Все эти вопросы, затронутые в историческом введении, неразрывно связаны с характеристикой коптского искусства и, в частности, художественных тканей. Дальнейшее изложение таким образом получает твердое историческое обоснование.

Глава заканчивается краткой историей изучения коптских памятников, включающей критику современного состояния буржуазной науки и отмечающей прогрессивное значение работ русских ученых, в первую очередь В. В. Стасова, а также собирателя коптских коллекций Эрмитажа В. Г. Бока.

Содержание второй главы (стр. 20—33) выходит за пределы ее названия. Помимо характеристики техники изготовления тканей, в ней содержится описание назначения сохранившихся тканей и принципов их украшений, а также условий находок некоторых документированных памятников, что позволяет уточнить их датировку и социальную принадлежность; сюда же, — по нашему мнению, не вполне оправданно, — включено и сопоставление принципов украшения тканей с принципами других видов искусства, причем особенно детально рассматриваются мозаичные полы. Авторы делают здесь ряд интересных наблюдений, отмечая, например, постепенное усиление дробности композиции, нарастание схематизации

¹ М. Э. М а т в е е. Коптская расписная керамика Эрмитажа. Труды Отдела Востока Государственного Эрмитажа (далее ТОВЭ), т. I, 1939; е е ж е. Коптские и египетские магические женские статуэтки, там же; е е ж е. Древнеегипетские мотивы на тканях византийского Египта, ТОВЭ, т. III, 1940; К. С. Л я п у н о в а. Коптская ткань с мифом о Геракле, ТОВЭ, т. I, 1939; е е ж е. Изображения Диониса на тканях византийского Египта, ТОВЭ, т. III, 1940.

и условности; эти черты, характеризующие стиль, значительно выиграли бы в контексте следующих глав, несколько искусственно отрывающих (как будет сказано ниже) содержание изображений от стиля; сами авторы частично возвращаются к этой теме в конце четвертой главы.

Большой интерес представляет третья глава (стр. 34—50) — „Древнеегипетские традиции в коптском искусстве“ [являющаяся переработкой статьи М. Э. Матье „Древнеегипетские мотивы на тканях Византийского Египта“ (ТОВЭ, т. III, стр. 117—145)]. Если первые русские исследователи коптских древностей только указывали на необходимость изучения древнеегипетских элементов в искусстве коптов, то автор рассматриваемой главы, будучи видным знатоком искусства Древнего Египта, прослеживает эти традиции на длинном ряде неоспоримых примеров, подкрепляя свои выводы данными литературы и искусства. Выявляя сохранение старых традиций в памятниках IV—VI вв., автор одновременно изучает процесс переосмысления сюжетов в соответствии с требованиями времени. Данная глава резко порывает с обычными концепциями буржуазной науки. Буржуазные ученые, как правило, отрывают историю Древнего Египта от так называемого христианского периода и тем более — от периода после арабского завоевания. Между тем „качественные особенности“, присущие каждому народу, тот вклад каждой нации в общую сокровищницу мировой культуры, о котором говорил И. В. Сталин,¹ сказывались, может быть, в менее ярко выраженной форме, и на предшествующих этапах развития различных народностей. Одним из достижений советской науки является выяснение роли различных народов в создании культуры человечества на разных этапах ее развития, — культура этих народов, входивших в состав эллинистического, римского, византийского, арабского и других государственных объединений, сохраняла известные качественные особенности.

Четвертая глава, названная „Сюжеты коптских тканей V века“ (стр. 51—80), менее отчетлива по кругу включенных в нее вопросов. Значительная часть ее посвящена довольно детальному разбору образов и сюжетов, связанных с греко-римской мифологией и литературой;² авторы отмечают своеобразные черты коптского претворения этих сюжетов, указывают на новое осмысление ряда мотивов, возникшее, в частности, в связи с распространением христианства.

Авторы останавливаются (стр. 69—80) на „изменении стиля этих изображений“ (стр. 69), обусловленном требованиями новой, зарождавшейся в это время феодальной идеологии. Исходя из стилистического анализа, авторы создали некоторые критерии для датировки тканей. Следует признать удачным опыт выделения отдельных групп тканей по принципу их иконографической и стилистической общности. В заключение вновь (ср. гл. II) приводятся некоторые соображения по вопросу о социальном составе владельцев тканей.

При всех достоинствах рассмотренной первой части книги, принципиально отличающих ее от донныне известных каталогов коптских тканей, она не лишена и ряда недостатков как более общего, так и частного порядка.

¹ Речь И. В. Сталина на обеде в честь Финляндской Правительственной Делегации 7 апреля 1948 года. „Большевик“, 1948, № 7, стр. 2.

² Эти части являются переработкой статей К. С. Ляпуновой, опубликованных в ТОВЭ, т. I и III.

Прежде всего, представляется недостаточно убедительным ограничение рамок издания IV—V вв. и исключение в связи с этим из его состава более поздних тканей; столь же мало убедительным представляется нам и исключение из каталога тех тканей, которые имеют орнаментальные изображения.¹ Мотивировка хронологического ограничения тем обстоятельством, что издаваемые ткани „были созданы в последний период борьбы язычества и христианства в Египте и отразили в своих изображениях ход развития этой борьбы; ткани же VI—VII веков имеют уже иной характер, и их изображения отражают в основном идеи и образы победившего христианства“ (стр. 19), вызывает серьезные сомнения. Полностью учитывая значение религиозных форм идеологии в рассматриваемый период, отнюдь нельзя считать этот момент решающим для периодизации даже такого конкретного материала, как ткани. К тому же авторы вступают в противоречие с собственным пониманием исторического процесса: борьба старых и новых форм идеологии в полном соответствии с борьбой старых (античных) и новых (феодальных) форм общества еще далеко не была закончена в V в. Античные сюжеты и образы, воплощенные в памятниках Константинополя и многих других центров, продолжали жить и в последующие века так же, как они сохранялись в памятниках литературы, в пережитках языческих культов и т. п.

С другой стороны, несмотря на то, что в ходе изложения (как, например, на стр. 21 при определении различных форм туник, на стр. 23—24 — при описании техники изготовления узоров, на стр. 26 — в рассказе о погребении Аврелия Коллуфа и в ряде других мест) неоднократно встречаются беглые указания на основания для датировки тканей, читателю все же остается неясным, каковы основные критерии для определения времени изготовления тканей. Не слишком ли увлекаются авторы критерием сюжета изображений, не совпадающим, кстати говоря, с понятием идейного содержания: не могут ли эти сюжеты навести их иной раз на спорные датировки? Было бы несправедливым обвинять авторов в том, что они при датировке игнорируют вопросы стиля (стиль, кстати говоря, не ограничивается формой, как это следует из нечетких формулировок на стр. 49 или 71, а органически включает и содержание), — в частности, этим вопросом уделено внимание в последнем разделе четвертой главы; однако, признавая сосуществование различных стилистических групп, они пренебрегают этим обстоятельством при датировке вещей и исходят из наличия единой линии развития стиля. Между тем ряд фактов говорит о том, что в эту переломную эпоху такой единой линии развития не было. Сосуществование разных стилистических групп как в период до победы христианства, так и после нее не подлежит сомнению. Христианская тематика должна была отразиться и в памятниках V в.; отсутствие ее в числе сюжетов на тканях рассматриваемого периода представляется сомнительным. В то же время мифологические образы, не чуждые искусству периода Юстиниана и даже более позднего времени, естественно представлены и на тканях VI в.

Быть может, привлечение орнаментальных тканей (не следует ли предполагать, что они в большей мере отражали народное искусство?) дало бы также ключ к датировке ряда сюжетных.

¹ Это можно объяснить лишь желанием наиболее полно опубликовать памятники. В таком случае рецензируемое издание следует рассматривать как первый том каталога.

Значительным пробелом книги, имеющей хорошее историческое предисловие, является отсутствие хотя бы краткой характеристики других вещественных памятников рассматриваемой эпохи. Изредка привлекая аналогии из других областей изобразительного искусства, авторы нигде не дали даже простого перечня вещей, находимых вместе с тканями; бесспорно, в каталоге тканей это не должно было носить развернутого характера, но в форме справки, в частности, при описании коллекции Эрмитажа такой перечень совершенно необходим.

Заканчивая первую главу, авторы подчеркивают, что они „не стремились дать полное и исчерпывающее исследование истории развития изображений на коптских тканях IV—VI веков н. э.“ (стр. 19), и действительно третья и особенно четвертая глава скорее представляют экскурсы по этим вопросам, чем исчерпывающее изложение темы. Само по себе это законное право авторов; следовало бы лишь привести в соответствие с фактическим содержанием структуру книги и ее оглавление.

Рассмотренные главы снабжены необходимыми примечаниями (стр. 81), дополняющими текст рядом интересных наблюдений.

Переходя к более мелким конкретным замечаниям, следует обратить внимание на некоторые неудачные формулировки, имеющиеся в первой главе. Так, первая же фраза книги, говорящая о большой историко-художественной ценности египетских тканей IV—V вв., неправильно ограничивает их роль лишь „своеобразным воспроизведением не сохранившихся современных им памятников изобразительного искусства и в особенности живописи“ (стр. 3). Между тем не подлежит сомнению самостоятельное значение публикуемого материала, имевшего сравнительно широкое распространение.

Вызывает сомнение формулировка на стр. 6, где говорится о том, что при Птолемах „основная масса жителей страны — население сельских общин — живет своей прежней жизнью“. Из этого следует, что новые формы культуры создаются лишь в Александрии. Однако создание этих новых форм навряд ли могло совершаться безо всяких сдвигов в жизни широких масс эксплуатируемого населения страны. На стр. 7 правильнее было бы говорить о включении Египта в 395 г. в Восточно-Римскую, а не Византийскую империю. Неточным представляется нам положение о том, что „одной из особенностей социальных отношений на Востоке было несколько более длительное сохранение значения городов по сравнению с Западом“ (стр. 12), — на самом деле городская жизнь не замирала в Византии, как и в ряде других стран Востока в течение всего средневековья.

В небольшом разделе, посвященном технике окрашивания тканей, не вполне правильно указывается, что Финикия представляла собой единственный район добычи пурпура; отнюдь не точно и указано, что применение его было „не всем доступно“ (стр. 25): правильнее было бы сказать, что носить подлинные пурпурные ткани было привилегией высших кругов придворной знати. Жаль, что авторы не указывают дат папирусов, содержащих данные об окраске тканей.

Как уже упоминалось выше, неоправданным является включение в главу о технике производства тканей отдельных фактов, касающихся социального положения владельцев некоторых сохранившихся тканей. Нам представляется также, что было бы более правильным выделить вопрос о принципах датировки и классификации тканей в самостоятельный раздел.

Непропорционально большое место в изложении занимают страницы, посвященные сопоставлению некоторых типов тканей с мозаичными полами (стр. 29—33). Остается неясным, единственный ли это вид искусства, связанный с украшением тканей. Надо бы поставить вопрос о возможности проводить аналогии с резьбой по камню, кости и т. п. К тому же цель всех проделанных авторами — самих по себе вполне убедительных — сопоставлений остается недостаточно ясной.

Вызывает сомнение также и то, насколько закономерна попытка авторов изолировать вопрос о цвете тканей, о наличии однотипных и многоцветных тканей от других моментов стилистической характеристики. Как известно, полихромия — явление, отличающее византийское искусство и искусство ряда других стран Востока на определенном этапе, теснейшим образом связана с рядом других стилистических черт.

Как отмечалось выше, особенно удачной следует признать третью главу, однако и в ней имеются некоторые промахи. Наименее убедительно среди многочисленных иных сопоставлений с древнеегипетскими мотивами сравнение так называемых „мальчиков с локотъ“ с маленькими фигурками слуг, располагавшихся рядом с вельможами (стр. 48). Не говоря о том, что в рассматриваемую эпоху такое противопоставление размеров основных и второстепенных персонажей уже было широко распространено, — фигурки этих мальчиков, как нам кажется, имеют значительные аналогии с эротами.

Наконец, мы считаем спорным утверждение авторов, будто бы идеи, нашедшие свое отражение на предметах, имевших сравнительно широкое распространение, отражают вкусы одних лишь владельцев тканей (стр. 50), — не будет ли более правильным считать, что на них отразились также и вкусы тех, кто создавал эти вещи? Это тем более вероятно, поскольку у нас нет оснований предполагать, что египетские художественные ткани этого времени изготовлялись исключительно на заказ.

Четвертая глава, как уже упоминалось выше, отводит преимущественное внимание сюжетам тех коптских тканей, которые связаны с греко-римскими традициями. Хотя эта тема в большей мере интересовала буржуазную науку и была предметом неоднократного исследования зарубежных искусствоведов, авторы сумели внести в этот вопрос много нового, предложив удачные определения сюжетов некоторых групп Эрмитажных тканей. Быть может, однако, в данном случае было бы более целесообразно сопоставить их с современными им памятниками (живопись катакомб, стенные мозаики, резьба по мрамору и кости), чем в поисках первоисточника иной раз восходить к микенским прототипам (стр. 65). С другой стороны, правильно борясь с порочной методологией буржуазных искусствоведов, приписывающих „все лучшее, сделанное коптским искусством, греко-римским или иранским мастерам“ (стр. 15), — авторы книги все же уделяют большое внимание античным влияниям и полностью игнорируют связи коптского искусства с восточной культурой. Между тем анализируя, например, изображения всадников, следовало бы обратиться и к восточным аналогиям.

Общим недостатком этой главы (как и главы второй) является некоторая нечеткость в постановке ее основной темы, несоответствие ее заглавия содержанию. Далеко не все сюжеты, встречающиеся на коптских тканях, являются предметом исследования авторов (достаточно для этого ознакомиться с перечнем их в каталоге); с другой стороны, в эту главу входит не только анализ сюжетов, но и заслуживающие

всяческого одобрения стилистические характеристики отдельных групп памятников.

Вторая часть книги представляет каталог тканей IV—V вв. из собрания Эрмитажа (стр. 75—161).¹ Первые два подразделения каталога даются по функциональному признаку: завесы (№ 1—6) и туники (№ 7—11). Остальные восемь — по характеру сюжетов: портреты (№ 12—14); ткани с изображениями нильских божеств, нильской природы и жанровых сцен на берегах Нила (№ 15—21); ткань с изображением жанровой сцены (№ 22); ткани с изображением эротов (№ 23—33); с мифологическими сюжетами (№ 34—123), с изображениями всадников (№ 124—193); с изображениями человеческих фигур и всадников (№ 194—370); птиц и рыб (№ 371—409). Подавляющее большинство всех этих памятников воспроизведено на 48 таблицах. Для каждого памятника авторы указывают краткое наименование, материал, технику изготовления, размер, перечисляют краски, а затем приводят довольно развернутое описание (более подробное, чем в каталогах западноевропейских и американских собраний) и дату; в заключение указано состояние памятника (сохранность), происхождение его, а также инвентарный номер, ссылка на таблицу и аналоги. Не вполне ясным для читателя остается вопрос о принципе, по которому в описание включаются или не включаются указания на раскраску отдельных деталей; можно лишь предполагать, что указания приведены в тех случаях, когда репродукция не дает представления о распределении цветов. Технику воспроизведения таблиц можно признать удовлетворительной, хотя фактура тканей в них не всегда передана. Было бы полезно увеличить количество цветных таблиц.

Подводя итоги, следует признать, что рецензируемая книга представляет серьезное, принципиально новое, марксистское исследование большого, сложного и очень интересного историко-культурного и художественного материала. Применение марксистско-ленинского метода и, в частности, творческое использование работ И. В. Сталина, позволило авторам поставить, а в ряде случаев и разрешить интересные научные проблемы.

М. Э. Матье и К. С. Ляпунова привели в систему, опубликовали, определили и датировали основной фонд коптских тканей IV—V вв. — богатейшего советского и одного из лучших в мире собраний. Работа М. Э. Матье и ныне уже покойной К. С. Ляпуновой должна быть продолжена с учетом некоторых высказанных здесь замечаний.

Издательство „Искусство“ положило начало выпуску научных каталогов замечательных художественных и историко-культурных собраний крупнейшего советского музея. Остается непонятным, почему, однако, оно сочло необходимым стыдливо умолчать (не указав в названии книги) о том, что данная работа является научным каталогом коллекции Государственного Эрмитажа. Раскрытие богатейших фондов собраний наших музеев представляет большой интерес для широких кругов советских читателей и посетителей музеев.

Остается пожелать, чтобы хорошее начинание было не случайным эпизодом, а плановым систематическим делом издательства „Искусство“.

А. В. Банк

¹ По непонятному недосмотру последнее обстоятельство не отражено в заглавии раздела.

E. STEIN. HISTOIRE DU BAS-EMPIRE, TOME II. DE LA DISPARITION DE L'EMPIRE D'OCCIDENT À LA MORT DE JUSTINIEN (487—565)

Paris — Bruxelles — Amsterdam, 1949.

Второй том „Истории Византийской империи“ содержит изложение событий от падения Западной Римской империи до конца правления Юстиниана I (527—565) и является посмертным трудом Эрнеста Штейна, подготовленным к печати Ж. Р. Паланком.

Э. Штейн не сразу стал византиноведом. Его первые труды были посвящены исследованиям в различных областях истории Римской империи.¹ Исследование по византийской истории Штейн избрал темой своей докторской диссертации,² как и темой *opus habilitationis* при утверждении в звании профессора,³ и с этих пор обратил все свои научные интересы на изучение истории Византии.

Предпринятому Штейном обобщающему труду по истории Византии предшествовали многочисленные подготовительные этюды, посвященные преимущественно изучению византийских центральных и областных государственных учреждений.⁴ Первый том рецензируемого труда Штейна, в котором он использовал много ранее не изученных исторических источников,⁵ вышел в Вене в 1928 г. Немедленно после окончания работы над первым томом Штейн начал сбор материалов для второго тома, который он рассчитывал довести до конца правления императора Ираклия (610—641). Однако автору удалось составить лишь предварительный набросок второго тома в этом первоначально намеченном объеме. Обилие привлеченных Штейном источников заставило его отказаться от первоначального замысла и закончить этот том правлением Юстиниана I, перенеся весь остальной материал в третий том, который из-за смерти автора не увидел света.

Рецензируемый второй том труда Э. Штейна состоит из следующих глав: I. От падения Западной Римской империи до смерти Зинона (476—491); II. Внешняя история римского Востока при Анастасии I (491—518); III. Теодорих Великий: организация и апогей королевства остготов в Италии (493—518); IV. Церковная, административная и экономическая политика Анастасия I (491—518); V. От смерти Анастасия I до вступления на престол Юстиниана I (518—527); VI. Император Юстиниан I; его внешняя политика и войны до взятия Равенны Веллизарием (527—540); VII. Религиозная и церковная политика Юстиниана до эдикта против Оригена (527—543); *Corpus juris civilis*; VIII. Внутренняя история правления Юстиниана до падения Иоанна Каппадокийского (527—541); IX. Сношения империи с восточными и дунайскими

¹ Zum Gebrauch des prokonsularischen Titels seitens der römischen Kaiser. „Klio“, XII (1912), S. 392—396; Beiträge zur ältesten römischen Geschichte. Wiener Studien, XXXVII (1915), S. 353—366; Kleine Beiträge zur römischen Geschichte. „Hermes“, LII (1917), S. 558—583; Untersuchungen über das Officium der Prätorianerpräfektur seit Diokletian, Vienne, 1922, 77 S.

² Beiträge zur Geschichte von Ravenna in spätrömischer und byzantinischer Zeit. „Klio“, XVI (1919), S. 40—71.

³ Studien zur Geschichte des byzantinischen Reiches, Stuttgart, 1919, VIII, 200 S.

⁴ Untersuchungen zum Staatsrecht des Bas-Empire. „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte“, Romanistische Abteilung, XLI (1920), S. 195—251; Ein Kapitel vom persischer und vom byzantinischer Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte. „Mitteilungen zur osmanischen Geschichte“, II (1925), S. 1—62.

⁵ Geschichte des spätrömischen Reiches, I: Vom römischen zum byzantinischen Staate, 284—476, Wien, 1928.

соседями от начала второй персидской войны Юстиниана до его смерти (540—565); X. Войны в Африке, Испании и Италии (540—565); XI. Возобновление монофизитства, спор о трех главах и последний богословский эдикт Юстиниана (542—565); XII. Золотой век византийской литературы; XIII. Внутренняя история правления Юстиниана от падения Иоанна Каппадокийского (541—565). Кроме того, том содержит 26 экскурсов, затрагивающих отдельные вопросы истории Византии этого периода.

Штейн определяет византийскую историю, как „совокупность исторических фактов, следующих за классическим античным миром, прямо и очевидно из него вытекающих“; это не только „переход от античности к средневековью“, но даже сама „античность в средневековье“.¹ И „если исследования (истории Византии. — Б. Г.) требуют известного знакомства с неавантийским миром, то еще настойчивее они требуют знания римских древностей“. Этими положениями определяется антинаучная „концепция“ истории Византии, развиваемая Штейном.

Еще в предисловии к первому тому рецензируемого труда Штейн писал, что, никогда не покидая твердой почвы источников, он якобы „не делал никакого насилия над последней в пользу какой-либо идеи исторической философии или какого-либо мировоззрения (*weltanschauliche Meinung*), каковы бы они ни были“. Эти уверения в беспристрастности истолкования источников — общая черта буржуазных историков вне зависимости от того или иного направления их общественно-политических взглядов, которое они стремятся завуалировать подобными заявлениями. И в этом отношении Штейн не составляет исключения.

Прежде чем подвести итоги изучения того или иного раздела, автор систематически проверял свои выводы в предварительных этюдах: неслучайно прошло 17 лет после выхода в свет первого тома, пока он закончил свою рукопись. Но, как и у большинства буржуазных историков, тщательная, скрупулезная работа Штейна над источниками, его стремление подробно изучить мельчайшие, часто второстепенные детали византийской истории не соответствуют значению конечных общих выводов автора. Так, несмотря на то, что в своих многочисленных этюдах (из которых мы назвали лишь немногие) Штейн уделял немалое внимание анализу деятельности учреждений Византийской империи, ему не удалось притти в своем труде к широким обобщающим выводам. Это объясняется тем, что византийские учреждения рассматриваются Штейном с формально-юридической точки зрения. Буржуазный историк, Штейн отказывается от исследования закономерностей процесса развития общественно-экономических отношений Византии, полностью игнорирует важнейшую для историка задачу — изучение классово-борьбы и народных движений, без понимания которых нельзя правильно объяснить смены одних форм государственного управления другими.

Принятая Штейном периодизация византийской истории ни в какой мере не может удовлетворить советского историка-марксиста. Историю Византии он делит на три периода: ранневизантийский, средневизантийский и поздневизантийский. Первый из них обнимает время от Диоклетиана до Ираклия (284—641); это — эпоха всемирного могущества византийского государства; средневизантийский период, в котором Византия еще остается первой мировой державой, характеризуется

¹ *Annuaire du cercle pédagogique des professeurs de l'enseignement moyen sortis de l'Université de Louvain, XXXVI (1938), p. 10—12.*

с точки зрения Штейна длительной борьбой с арабами и внутренней реорганизацией, достигающей наибольшего размаха при Македонской династии; после 1081 г. начинается поздневизантийский период — время упадка Византии, полное многих испытаний перед катастрофой 1453 г.

Порочность этой периодизации состоит прежде всего в ошибочном стремлении поставить знак равенства между поздней Римской и Византийской империями, между которыми на самом деле лежит резкая грань — революционный переход от рабовладельческой к феодальной общественно-экономической формации. Нет никаких оснований относить начало истории Византии к 284 г., т. е. к моменту воцарения Диоклетиана. В такой же степени столкновения с арабами и реформы государственного устройства не могут быть признаны историческими вехами, достаточными для того, чтобы выделить время с 641 по 1081 г. в некий самостоятельный период. Наконец, между 1081 г. и 1453 г. — датой конца империи — лежит продолжавшаяся 57 лет полоса существования Латинской империи, создающая определенный „водораздел“ между предшествующим и последующим периодами: каждый из них имеет свои особенности и различия, так что их никак нельзя без ущерба для научной истины втиснуть в рамки одного и того же периода. Схема периодизации, предложенная Штейном, близка ко многим другим схемам, выдвигавшимся буржуазными византинистами, которые избирали критерием для периодизации случайные, произвольные даты, трактованные ими в качестве вех византийской истории. Научная периодизация истории Византии, как и истории любой другой страны, может быть построена лишь на основе марксистско-ленинского учения о смене общественно-экономических формаций.

Первые пять глав рецензируемого труда содержат изложение внешней и внутренней истории Византии от падения Западной Римской империи до вступления на престол Юстиниана I (это время выделяется Штейном как особый „подпериод“). Автор пытается установить отличительные черты начала и конца этого периода. По его мнению, в IV в. язычество сохраняет еще свою жизнеспособность, латинский язык — свое преобладающее значение по сравнению с греческим, сенаторские фамилии — традиции древнего Рима, вследствие чего империя носит скорее римский, чем византийский характер. В VI в., напротив, римского, — полагает Штейн, — ничего не остается, кроме „политической организации и государственной концепции“ (кавычки мои. — Б. Г.), которая будет еще долго существовать в сознании византийцев. Государство в Византии тесно связано с религией; в нем настолько господствуют восточные элементы, что, с точки зрения Штейна, к этому времени можно считать оконченным процесс смешения Востока и Запада, составляющего, по мысли автора, квинт-эссенцию „византизма“ (стр. 7—8).

Если отбросить тезис о вытеснении латинского языка греческим (которое, кстати, происходит позднее, чем это думает Штейн), если отвлечься от ошибочной переоценки автором „жизнеспособности“ остатков язычества в IV в., то остается одно основное положение, свидетельствующее об идеалистической основе концепции Штейна. Это — мысль о неизменной политической организации и о какой-то изначальной надклассовой „государственной концепции“, которой якобы было обеспечено длительное существование в Византии. Чисто идеалистическая интерпретация византийской истории сближает Штейна со многими другими современными буржуазными византинистами, твердящими,

как, например, Г. А. Острогорский, о „Reichsidee“, как о единственной и неизменной движущей силе истории Византии на всем ее протяжении.

Хотя первые пять глав, при составлении которых автор частью пересмотрел старые и изучил новые источники, содержат некоторые интересные наблюдения по частным вопросам, тем не менее, в этих главах имеется ряд ошибочных положений; на важнейших из них мы считаем необходимым остановиться.

В параграфе о церковных делах и религиозной политике Зинона автор утверждает, что в IV в. арианство и язычество объединились в борьбе против господства официальной церкви, а в V в. последняя будто бы вступила в союз с язычеством для общей борьбы против монофизитства (стр. 23). Утверждения о существовании подобных „коалиций“ ни на чем не основаны, а „союз“ официальной церкви с язычеством, якобы созданный для борьбы против монофизитства, вообще был невозможным в то время, когда господствующая церковь вела энергичную борьбу против остатков язычества, нередко прибегая в этой борьбе к жестокому террору против „инакомыслящих“. Идеалистическая концепция Штейна проявляется в неприкрытой форме, когда он утверждает, что подобный союз (корни которого, если бы он действительно имел место, следовало бы искать в специфических особенностях расстановки классовых сил) мог быть создан по плану, разработанному неоплатоником-язычником Пампрепием. Вообще все изменения, происходившие в соотношении сил во время ожесточенной религиозной борьбы IV—V вв. Штейн объясняет исключительно деятельностью отдельных участников этой борьбы, которая основывалась будто бы на всегда заранее разработанных планах действий и т. д. Например, изменение религиозной политики правительства в 482 г. автор „объясняет“ сношениями Илла с духовным главой монофизитов (стр. 24); отход Зинона от борьбы с монофизитами, эдикт „Энотикон“ (482 г.), в котором подтверждались постановления первых трех вселенских соборов и подвергались анафеме Несторий и Евтихий, также объясняются исключительно деятельностью церковников, окружавших в это время императора Зинона (стр. 25—26). Ошибкой является утверждение Штейна о том, что в Сирии были весьма сильные позиции официальной церкви. Известно, наоборот, что Сирия была одним из наиболее сильных оплотов монофизитства.

В искаженном свете рисует автор внутреннюю историю государства Одоакра: он заявляет, что, по странной иронии истории, „свобода римской знати, за которую некогда умерли Брут и Кассий, никогда не была установлена с такой полнотой, как при первом варварском короле, правившем в Италии“ (стр. 41). Исследования советских историков показали обратное, а именно — то, что в государстве Одоакра были сильно ущемлены привилегии крупных землевладельцев: последние начали восстанавливать свое прежнее положение лишь после завоевания Италии войсками Юстиниана I. Сам автор противоречит себе, когда отмечает, что многие поместья крупных земельных магнатов были распределены небольшими участками между воинами Одоакра (стр. 42). В этой связи следует отметить, что автор, продолжая свои предварительные исследования, внес много нового в изучение характера деятельности *comitiva regum privatorum*, в функции которой входило распределение конфискуемых у римской знати земель (стр. 51—52).

Довольно полно освещена Штейном внутренняя политика и административные реформы императора Зинона (стр. 65—75). Автор под-

робно анализирует эти реформы, вносящие ряд изменений в функции правительственного аппарата, главным образом, областного. В частности, он детально рассматривает реформу 435—436 гг. (об изменении порядка юрисдикции сената), излагая предварительно историю относящегося к этому вопросу законодательства, начиная с реформы 440 г., по которой *clarissimi* и *spectabiles* лишились права участия в заседаниях сената.

Переходя к изложению событий правления Анастасия I (491—518), Штейн уделяет внимание восстаниям факций, происходившим в Константинополе и во многих городах империи в начале правления Анастасия I и поддержанным народными массами. Однако мы напрасно стали бы искать у автора анализа социального состава факций и димов, сущности классовых противоречий между фракциями и внутри их. Вследствие отсутствия такого анализа подлинный характер движения димотов остается у Штейна невыясненным, и это обстоятельство лишний раз подтверждает тот факт, что буржуазные ученые не в состоянии правильно характеризовать эти движения. Только советские ученые, вооруженные марксистско-ленинской методологией исторического исследования, способны решить эту задачу, о чем свидетельствуют работы А. П. Дьяконова,¹ Н. В. Пигулевской² и М. В. Левченко.³ В параграфе „Абиссиния и Иемен“ (стр. 101—105), несмотря на большое количество привлеченных источников, автору не удалось с достаточной полнотой проследить связи Византии со странами Востока. Эти связи были глубоко изучены советским историком Н. В. Пигулевской в ряде ее статей⁴ и особенно в монографии „Византия на путях в Индию“ (1951 г.), обобщающей накопленный автором материал многолетних исследований.

Содержание третьей главы, трактующей о роли Теодориха в организации королевства остготов в Италии (стр. 107—156), собственно говоря, выходит за пределы истории Византии, как таковой. Введение этой главы можно объяснить лишь тем, что Штейн, как мы уже отмечали, рассматривал Византию как непосредственное продолжение Римской империи и поэтому стремился проследить судьбы ее западной части на примере, в частности, „варварского“ королевства остготов. Автор крайне идеализирует личность Теодориха, приписывая исключительно ему все глубокие изменения в общественно-экономическом и политическом строе Италии, происшедшие за время существования остготского королевства. Он заявляет, что если для Константина и Феодосия I эпитет „Великий“ можно допустить лишь с натяжкой, то в отношении Теодориха его можно применить без всякого ограничения (стр. 107). Штейн называет Теодориха вдохновителем последнего

¹ А. П. Дьяконов. Византийские димы и факции (*τὰ μέρη*) в V—VII вв. „Византийский сборник“, М.—Л., 1945, стр. 144—227.

² Н. В. Пигулевская. Византия и Иран на рубеже VI и VII вв. М.—Л., 1946, стр. 129—159, 159—164.

³ М. В. Левченко. Венеты и прасины в Византии в V—VII вв. „Византийский Временник“, т. I, 1947, стр. 164—183.

⁴ Анонимная сирийская хроника о времени Сасанидов (сирийские источники по истории Ирана и Византии), „Записки Института востоковедения АН СССР“, VII (1939), стр. 55—78; Византийская дипломатия и торговля шелком в V—VII вв., „Византийский Временник“, т. I, 1947, стр. 184—212; Первоисточники истории кушито-химьяритских войн (К истории торговли и дипломатии Византии на Востоке), „Византийский Временник“, т. II, стр. 74—93; Эфиопия и Химьяр в их взаимоотношениях с Восточно-Римской империей, „Вестник древней истории“, 1948, № 1, стр. 87—97; Законы химьяритов. „Византийский Временник“, т. III, 1950, стр. 51—61.

подъема римской культуры, мудрым примирителем античной цивилизации и „германизма“, борющихся в течение полутысячелетия. На самом деле социально-экономическая политика Теодориха была направлена на удовлетворение интересов крупного землевладения — как прежнего римского, сенаторского и церковно-монастырского, так и крупного остготского, вновь создававшегося на базе земельных пожалований Теодориха. По мысли Маркса, „его (Теодориха. — Б. Г.) большая ошибка заключалась в том, что он не только сохранил *римскую экономику*, законы, магистратуру и т. д., но и обновил их в известной мере“.¹ Штейн совершенно умалчивает о частых народных движениях, которые имели место в правление Теодориха и были направлены против усиливавшейся эксплуатации со стороны крупных землевладельцев. Исследуя реформы Теодориха на основе данных исторического произведения Кассиодора и других источников, автор уточняет понимание ряда деталей административного устройства остготского королевства. В частности, он показывает характер института *salones* и *comitiaci*, назначавшихся исключительно из рядов остготской военной знати и игравших большую роль в управлении королевством. Освещена в этой главе также и внешняя политика Теодориха.

Четвертая глава посвящена изучению церковной, административной и экономической политики Анастасия I (491—518). Изменение церковной политики Анастасия I в сторону установления терпимого отношения к монофизитам Штейн ошибочно объясняет его личными симпатиями, основанными якобы на глубоком уважении к современным ему вождям монофизитов (стр. 157). На самом деле эта политика вызывалась необходимостью считаться с силой монофизитов в восточных провинциях, являвшихся мощными экономическими центрами империи.

В извращенном виде представлено в труде Штейна восстание 513 г., во главе которого стоял комит федератов Виталиан (стр. 177—185). Это движение, в котором принимали активное участие широкие народные массы, автор объясняет исключительно их недовольством примиренческой политикой Анастасия I по отношению к монофизитам. Бесспорно, что религиозные противоречия играли значительную роль в борьбе факций.² Однако в основе народных движений, происходивших в правления Анастасия I и Юстиниана I, лежали изменения в общественно-экономическом строе, повлекшие за собой обострение классовых противоречий и вызвавшие острые конфликты не только среди руководящих групп факций и димов,³ но и выступления эксплуатируемых групп населения против господствующей верхушки внутри этих организаций. Часто эти движения разрывались в настоящие восстания, угрожавшие императорскому трону.⁴ Только под этим углом зрения можно правильно расценить восстание, во главе которого стоял Виталиан.⁵

С достаточной полнотой изучена Штейном финансовая политика Анастасия I, которой он дает положительную оценку. Известно, однако, что финансовые мероприятия первых византийских императоров тяжело отражались на положении трудящихся масс империи. Автор

¹ К. Маркс. Хронологические выписки. Архив Маркса и Энгельса, т. V, 1938, стр. 21.

² М. В. Левченко. Венеты и прасины в Византии в V—VII вв. „Византийский Временник“, т. I, 1947, стр. 172.

³ М. В. Левченко. Ук. соч., стр. 175.

⁴ Там же, стр. 176.

⁵ См. Н. В. Пигулевская. Ук. соч., стр. 136—139.

детально исследует характер применения *сυνωνή* (римского *coemptio*), по которой обложение поземельной податью в натуральной форме было заменено денежным на основе золотого исчисления и был установлен новый порядок сбора этого важнейшего налога с общин: взимание налогов с мелких землевладельцев было изъято из ведения декурионов и предоставлено виндикам-откупщикам, что сильно увеличило доходы византийского государственного казначейства. Как отмечает Штейн, в 498 г. было уничтожено *auri lustralis collatio*, причем ущерб, понесенный от этой меры меры казной, был с избытком возмещен реформой *coemptio*. Автор исследует далее монетную реформу Анастасия, укрепление системы *ἐπιβολή* (*adiectio*). При Анастасии, как показывает Штейн, не только зачастую уничтожались правовые различия между *ἐπιβολή ὁμοδούλων* и *ἐπιβολή ὁμοκῆσων*, но посредством *adiectio* неводеланные земли присоединялись к возделываемым владениям. Эдиктом префекта претория Зотика это было запрещено. Кроме того, Анастасий издал указ, запрещающий применение *ἐπιβολή ὁμοκῆσων* к владениям, управлявшимся *comitiva sacri patrimonii*.

Излагая (в пятой главе) события от смерти Анастасия I (518) до вступления на престол Юстиниана I (527), Штейн вносит мало нового в обычное для буржуазной историографии освещение этого периода, если не считать его вряд ли обоснованной попытки пересмотреть общепринятый среди буржуазных византиноведов взгляд на личность Юстина I, которого все историки справедливо расценивают, как жалкую посредственность.

Вся остальная часть книги (стр. 275—780) Штейна посвящена правлению Юстиниана I. Прежде чем приступить к анализу отдельных сторон деятельности императора, автор дает общую оценку личности Юстиниана I, которого он, следуя принятой буржуазными историками традиции, безмерно идеализирует. В оценке юстиниановской внешней политики Штейн допускает ряд нелепостей. Так, говоря о значении войн Юстиниана I, он утверждает, что „без византийского завоевания Италии нельзя понять ни подъем венецианского могущества, ни образования Неаполитано-Сицилийского государства, первого государства нового времени (*sic!*)“ и что „еще в XII в. западная политика императора Мануила Комнина носит отпечаток „империализма“ (кавычки мои.— Б. Г.), возникающего при Юстиниане“ (стр. 277). В описании Штейна Юстиниан наделяется страстью к славе, которая, оказывается, побуждает его ко многим „благородным“ действиям, любовью к богословским исследованиям, в которых он мог показать свою „эрудицию“, стремлением лично редактировать издаваемые им законы и т. д. В то же время автор пишет о терпимости Юстиниана к критике, о его скромности, расточает похвалы якобы исключительной трудоспособности императора (стр. 278—279), его заботам об единстве религии, его руководству по кодификации законодательства. Идеализация Юстиниана давно уже стала традицией у буржуазных византинистов, и ничего оригинального в этом отношении работа Штейна не дает.

Очерк о внешней политике Юстиниана рисует картину завоевательных войн Юстиниана (имевших целью, как полагает автор, превратить Средиземное море в „*mare nostrum*“), а также его оборонительных войн, задачей которых было преградить натиск славянам в пределы империи. Собранный автором материал показывает, что славяне серьезно угрожали империи. Опираясь на данные многих источников, в том числе и таких, которые ранее никем не были использованы, Штейн отмечает, что болгары овладели в Иллирике тридцатью двумя

крепостями; захватив Кассандрию, Потидею, они проникли во Фракийский Херсонес, даже пересекли Геллеспонт и прорвались на малоазийский берег, подвергнув его опустошению и сломив сопротивление Анастасия у „Длинной стены“, которую историк VI в. Евагрий называл „знаменем бессилия, памятником трусости“.

Известный интерес представляет изложение автором вопроса об организации управления в Северной Африке после завоевания королевства вандалов (стр. 318—328). Автор останавливается на создании *magisterium militum Africae* с центром в Карфагене.

В седьмой главе своего труда, основываясь главным образом на историческом сочинении Прокопия Кесарийского, Штейн исследует церковную политику Юстиниана.

Что касается общей оценки юстиниановского законодательства, как и всей его государственной деятельности, то Штейн, будучи буржуазным историком, оказывается совершенно бессильным разобраться в сущности того и другого. Советские ученые впервые дали единственно правильную научную характеристику деятельности прославленного буржуазными историками Юстиниана I, основанную на гениальном сталинском учении о переходе от рабовладельческой формации к феодальной.¹ Советские историки установили, что Юстиниан — прежде всего душитель угнетенных масс, „потопивший в море крови восстания константинопольского плебса“, жестоко подавлявший все и всяческие проявления революционного движения не только в Византии, но и в Западной Римской империи, что „вся внутренняя политика этого императора, его „прославленное“ законодательство преследовали одну цель: укрепить распадавшийся под ударами революции рабов рабовладельческий строй и подавить эту революцию“.²

Штейн посвящает особый параграф восстанию „Ника“ (532 г.) (стр. 449—456). Однако, это самое значительное в истории Византии VI в. народное движение, это крупнейшее восстание городского населения,³ закончившееся разгромом димов вследствие нерешительности и измены примкнувшей к восстанию враждебной Юстиниану части сенаторской аристократии,⁴ не получило в рецензируемой работе правильного освещения.

Очень подробно, разбирая некоторые частные вопросы, излагает Штейн деятельность Юстиниана в области административных реформ, уделяя особое внимание реформам, непосредственно проводившимся Иоанном Каппадокийским во время его второй префектуры (стр. 463—470). К интересным выводам пришел автор, изучая реформы провинциального управления в Армении (стр. 470—472), Малой Азии (стр. 472—473), исследуя новую магистратуру (*quaestura exercitus*), созданную в 536 г. (стр. 474—476), рассматривая организацию византийского управления в Египте.

Девятая и десятая главы труда Штейна посвящены изучению внешней политики Юстиниана от 540 г. до конца его правления. Здесь очень подробно излагаются события войн с Персией, войн в Африке, Испании и Италии. Особый параграф посвящен событиям на придунайской границе Византии, где в правление Юстиниана происходили непрерывные вторжения антов, болгар и славян (стр. 521—525). Однако автор при этом ограничивается лишь внешним изложением событий,

¹ См. „Византийский Временник“, т. III, 1950, стр. 9—10.

² Там же, стр. 10.

³ Н. В. Пигулевская. Ук. соч., стр. 141.

⁴ М. В. Левченко. История Византии. Краткий очерк, М.—Л., 1940, стр. 61.

связанных с походами славян, не затрагивая вопроса об их огромном историческом значении, вопроса, который был подвергнут всестороннему изучению в трудах советских ученых.¹

После длинных экскурсов, посвященных завоевательным войнам Юстиниана, экскурсов, в которых не дается никакой оценки реакционной сущности его внешней политики, Штейн переходит к анализу положения Италии после византийского завоевания (стр. 612—622). В этом разделе автор также нанизывает большое количество как известных, так и вновь отмечаемых им фактов, не пытаясь дать этим фактам надлежащей оценки.

Реакционная сущность законов Юстиниана, изданных им для завоеванной Италии, наиболее полно предстает перед нами в Прагматической санкции 554 г. Этим актом Юстиниан стремился повернуть вспять колесо истории, восстанавливая старые римские учреждения и старые порядки, уничтожая все следы „тирании“ Тотилы, организуя погоню за бежавшими колонами для водворения их в имения прежних владельцев. Реакционное законодательство Юстиниана еще более ухудшило тяжелое положение народных масс Италии, доведенных до нищеты длительными войнами. Сильно уменьшившееся за годы войн население не в состоянии было обрабатывать земли, большое количество которых оставалось невозделанными. Но Штейн не замечает всего этого: он ограничивается лишь ничего не говорящим замечанием о том, что „во многих отношениях это законодательство не соответствовало реальному положению дел“ (стр. 615). Ошибочно утверждение Штейна о том, что после завоевания Италии сенаторское сословие потеряло свое прежнее значение, — весь дух Прагматической санкции свидетельствует о том, что она была направлена на всемерное укрепление сенаторского землевладения.

В оценке автором деятельности Юстиниана содержится много других ошибочных и порочных положений. Штейн, как и остальные представители буржуазной исторической науки, приложил немало усилий, чтобы поддержать миф о „великом“ царствовании Юстиниана, о его „великих деяниях“, миф, разоблаченный и навсегда похороненный советским византиноведением. Советские историки показали, что правление императора Юстиниана было периодом кратковременного торжества рабовладельческой реакции, последней отчаянной попыткой рабовладельческого мира взять реванш и подавить революционное движение народных масс.²

Одиннадцатая глава рецензируемой работы посвящена церковным делам второй половины (542—565) правления Юстиниана. В этой главе идет речь о новом усилении монофизитского движения, о споре по поводу трех глав и о последнем богословском эдикте Юстиниана. Автор, конечно, не смог дать правильной оценки религиозной политики

¹ См. Н. В. Пигулевская. Авары и славяне в сирийской историографии. „Советское востоковедение“, М.—Л., 1941, т. II, стр. 27—36; А. П. Дьяконов. Известия Иоанна Эфесского и сирийских хроник о славянах VI—VII веков. „Вестник древней истории“, 1946, № 1, стр. 20—34; В. И. Пичета. Славяно-византийские отношения в VI—VII вв. в освещении советских историков, там же, 1947, № 3, стр. 95—99; Б. Т. Горянов. Славянские поселения VI в. и их общественный строй, там же, 1939, № 1, стр. 308—318. Подробную библиографию вопроса см. в „Сборнике документов по социально-экономической истории Византии“, М., 1951, стр. 295—297.

² См. З. В. Удальцова. Прокопий Кесарийский и его „История войн с готами“. Вступительная статья к изданию „Прокопий из Кесарии. Война с готами“, перевод С. П. Кондратьева. М., 1950, стр. 7.

Юстиниана и не сумел показать, что под маской борьбы за чистоту христианской религии Юстиниан необычайно жестоко расправлялся со всяким свободомыслием.¹

Двенадцатая глава носит название „Золотой век византийской литературы“. В этом названии слышатся отзвуки распространенной среди буржуазных литературоведов и историков искусства ошибочной теории о том, что в царствование Юстиниана происходит якобы последний расцвет античной культуры. Эти ученые забывают известные факты, свидетельствующие о том, что Юстиниан во имя борьбы за чистоту официальной религии обрушивал жесточайший террор на малейшее проявление инакомыслия, что именно он закрыл в 529 г. Афинскую высшую школу, что Юстиниан поддерживал лишь тех писателей, которые слепо проводили его политику превращения религии в орудие порабощения масс правительственному деспотизму этой теократической империи, душившей ростки всего прогрессивного в византийской культуре. При Юстиниане „вся духовная жизнь находилась под строжайшим контролем государства, которое беспощадно пресекало всякую оппозиционную мысль, всякое новшество, всякое либеральное богословское течение... Максимально централизованный государственный аппарат зорко следил за тем, чтобы в господствующее мировоззрение не просачивались какие-либо посторонние влияния... Инакомыслящих отправляли в ссылку либо приговаривали к смертной казни“.² Таким образом, вся политика Юстиниана была направлена к тому, чтобы всемерно поощрять творчество идеологов официального христианства, „отцов церкви“, которые должны были доказать „слабость“ человеческого разума, подавить всякую свободу мысли и самостоятельность в деятельности оппозиционных элементов византийского общества. Время правления Юстиниана никак не может быть названо „золотым веком“ византийской литературы. Наоборот, если в последующие эпохи, как, например, в эпоху иконоборчества, появляются прогрессивные течения в науке, литературе и искусстве, то такие явления могли иметь место лишь как следствие победы над затхлым режимом — сплошного засилия церковников-мракобесов, основы которого были заложены Юстинианом.

В рассматриваемой главе Штейн в первую очередь дает анализ творчества последних представителей литературы, писавших на латинском языке, — Кориппа, Аратора и др. Заслуживает внимания указание Штейна, что значение произведений Кориппа до сих пор недооценивалось его исследователями. Действительно, прежние исследователи (Скутш, Манициус, Шанц, Гозиус, Диль и др.) не принимали во внимание того, что сочинения Кориппа могут послужить важным источником для изучения событий в Африке, восстания Кутцины 543 г., могут позволить восстановить много неизвестных до этого подробностей, касающихся истории войн за завоевание Северной Африки.

Расцвет греческой литературы Штейн усматривает в творчестве Романа Сладкопеевца (стр. 696—697) и некоторых других представителей церковной поэзии, прославлявших официальную православную религию.

Говоря о прозаических произведениях этого времени, автор останавливается на сочинениях некоторых представителей агиографической

¹ См. Э. В. Удалцова. Прокопий Кесарийский и его „История войн с готами“. Вступительная статья к изданию „Прокопий из Кесарии. Война с готами“, перевод С. П. Кондратьева. М., 1950, стр. 7.

² В. Н. Лазарев. История византийской живописи, т. I, М., 1947, стр. 17.

литературы и на „Христианской топографии“ Космы Индикоплова. Однако последнему произведению автор посвящает несколько беглых строк, не только ничего не прибавляющих к нашим представлениям об этом писателе, но и значительно уступающих исследованиям советских историков в этом направлении.¹

Раздел главы, посвященной историкам и хронографам этой эпохи, не дает почти ничего нового по сравнению с тем, что известно о них из сочинений буржуазных историков византийской литературы и исследователей, анализировавших творчество византийских историков этого периода, — Крумбахера и других. Основное место в этом разделе уделено историческим произведениям Прокопия Кесарийского (стр. 709—723). Разумеется, мы не найдем здесь определения, интересы каких классовых групп отражал этот виднейший историк юстиниановской эпохи; Штейн не понимает, что Прокопий был под влиянием оппозиционных настроений старой рабовладельческой аристократии² и стремился к восстановлению былого могущества „высшей рабовладельческой знати, группировавшейся вокруг сената“.³ Не столь подробно останавливается Штейн на характеристике творчества Петра Патрикия и Иоанна Лида, не отмечая других историков этой эпохи, заслуживающих не меньшего внимания.

Последняя, тринадцатая глава труда Штейна посвящена внутренней истории правления Юстиниана в последние годы его царствования (541—565), со времени смещения Иоанна Каппадокийского. Отметим, кстати, что подобная „периодизация“ правления Юстиниана, опирающаяся на такую случайную дату, как „падение“ ничем не приметного сановника, прославленного буржуазными историками лишь за то, что он был верным лакеем Юстиниана, угодливым проводником его реакционной политики, может только служить лишним примером полнейшего произвола в принятой Штейном „системе“ периодизации византийской истории.

В этой последней главе Штейн установил некоторые новые детали, касающиеся функций таких сановников, как *refendarii a secretis*, куропалатов и т. д. Посвятив далее ряд страниц описанию стихийных бедствий и эпидемий, разразившихся в это время в Византии, затронув вопрос о развитии производства шелка, автор кончает свою книгу описанием последних дней Юстиниана.

Дополнением к книге Штейна служат обширные комментарии („экскурсы“), содержащие богатый фактический материал, в особенности по вопросам структуры и функций византийского правительственного аппарата. К книге приложен длинный перечень источников и три исторические карты.

В своей работе Штейн не мог избежать пороков, присущих исследованиям всех буржуазных ученых-византинистов. Внутренняя история Византии рассматривается им почти исключительно в плане анализа структуры и функций административного аппарата империи, которому автор придает исключительное значение в ее судьбах. Это — одно из наиболее ярких проявлений идеалистического понимания исторического процесса, свойственное Штейну, как буржуазному ученому. Важнейшие вопросы социально-экономической истории, классовой борьбы, как, например, борьба димов и факций, имевшая большое значение, факти-

¹ См. Н. В. Пигулевская. Византийская дипломатия и торговля шелком в V—VII вв. „Византийский Временник“, т. I, 1947, стр. 199 сл.

² Э. В. Удалцова. Ук. соч., стр. 15.

³ Там же, стр. 18.

чески остаются без рассмотрения, либо, в лучшем случае, излагается один только фактический материал, без попытки какого-либо обобщающего анализа событий. Идеалистическая методология Штейна привела его к ошибочной, основанной на случайных признаках, периодизации византийской истории. Уделяя много места освещению завоевательных походов Юстиниана, Штейн проходит мимо внутренней истории областей, временно захваченных византийскими войсками; он не вскрывает реакционного характера политики Юстиниана в этих областях. Совершенно обойден автором важнейший вопрос о славянской колонизации и роли славян в формировании византийского феодализма, разрешенный в трудах советских историков (Б. Д. Греков, П. Н. Третьяков, Н. В. Пигулевская, Е. Э. Липшиц, А. В. Мишулин, М. В. Левченко, Б. Т. Горянов, Э. В. Удальцова).

В целом большой труд Штейна, составившийся на протяжении почти двух десятилетий, труд, в котором собран значительный фактический материал, является свидетельством вырождения буржуазного византиноведения. Не случайно поэтому прогрессивные круги буржуазной Франции, интересующиеся правильной научной трактовкой византийской истории, издали в переводе на французский язык книгу советского ученого М. В. Левченко по истории Византии. Только советская историческая наука, владеющая единственно научным методом исторического исследования, способна разрешить сложные вопросы истории византийского феодализма.

Б. Т. Горянов

LOUIS BRÉNIER. LE MONDE BYZANTIN

T. II. *Les institutions de l'empire Byzantin. Paris, 1949.*

T. III. *La civilisation Byzantine. Paris, 1950.*

Работа Луи Брейе по истории Византии, изданная во Франции в исторической серии „Эволюция человечества“,¹ чрезвычайно ярко показывает состояние маразма и упадка современной буржуазной исторической науки вообще, византиноведения — в частности. Брейе — один из наиболее известных западноевропейских византинистов, автор большого количества исследований по различным вопросам истории Византии; вице-президент шестого Международного конгресса византинистов, заседавшего в Париже в 1948 г.

Труд Брейе состоит из трех томов: I. „Жизнь и смерть Византии“ (политическая история империи), — эта книга уже была подвергнута критическому разбору в советской историографии;² II. „Учреждения Византийской империи“; III. „Византийская цивилизация“.

Таким образом, автор поставил перед собой цель осветить все стороны жизни византийского общества на протяжении тысячелетнего периода его существования. Американская и западноевропейская критика считает, что Брейе удачно выполнил эту задачу. А. Васильев называет его второй том „византийской энциклопедией по внутренней истории империи“.³ Третий том „Византийского мира“, по мнению А. Берра — руководителя серии и автора предисловия к рецензируемой

¹ L'évolution de l'humanité. Synthèse collective. Dirigée par H. Berr.

² Рецензия Э. В. Удальдовой. „Византийский Временник“, т. II, 1949, стр. 337—360.

³ „American historical review“, vol. 55, N° 1, oct. 1949.

работе, — дает возможность узнать „психологию этого мира, который он (Брейе) изучил во всех его аспектах“.¹ Эти одобрительные отзывы буржуазных историков не случайны. Сочинение Брейе является обобщающим трудом по истории Византии в современной буржуазной историографии, и ему присущи все отрицательные стороны, свойственные последней. Автор „Византийского мира“ всецело находится в русле тех порочных идей, которые характерны для западноевропейской историографии. Ее методологическую основу составляет идеалистическая концепция истории. В этом отношении весьма показательно выступление президента шестого Международного конгресса византинистов Габриэля Милле, заявившего, что история Византии представляет особый интерес, ибо Византия „сохранила законы античности, мысль и идеал Греции, римское право, сочетала ясный разум средиземноморской цивилизации с глубоким религиозным чувством Востока“.²

Об идеалистическом подходе Брейе к историческим явлениям свидетельствует самое расположение материала в его труде. После тома, который содержит изложение политической истории империи, следует том, посвященный характеристике императорской власти, изучению структуры бюрократического аппарата, характеристике права и судебной организации, финансов, дипломатии, армии, церковных институтов. Наконец, третий том охватывает вопросы материальной жизни общества, семейного и хозяйственного быта, нравов, верований, культуры и идеологии. Коренные проблемы экономики и социальных отношений Византии рассматриваются автором очень кратко и лишь после анализа учреждений империи, которые исследуются в полном отрыве от социально-экономического строя византийского государства. Построение работы несет на себе печать искусственности: многие вопросы трактуются дважды: во II томе — в их юридическом аспекте и в III томе — в плане экономическом.

Идеализм Брейе отчетливо проявляется уже в первой главе II тома — „Источники императорской власти“. Автор пытается объяснить неограниченность императорской власти господством в Византии теории божественного происхождения этой власти. С другой стороны, заявляет Брейе, доктрина божественного права, которая давала императору такое могущество, оправдывала также мятежи; опираясь на нее, можно было доказать, что избранный богом государь неправильно использовал свою власть; таким образом, в Византии опасность государственных переворотов была неизбежным следствием самой концепции верховной власти (т. II, стр. 66). Смена династий на всем протяжении истории империи рассматривается как проявление борьбы двух отвлеченных принципов — принципа наследственности власти государей и теории непосредственного вмешательства бога в выборы данного императора. С IX в., по мнению Брейе, одержал верх первый принцип, отсюда — большая продолжительность династий IX—XV вв. и большая сопротивляемость их попыткам узурпации (т. II, стр. 20—21). Эпоха Палеологов объявляется автором „триумфом законности“ (т. II, стр. 25).

Таким образом, анализ конкретной действительности подменяется надуманными умозрительными рассуждениями. Автор совершенно игнорирует всю совокупность внутренних и внешних факторов — сложные перипетии борьбы между различными фракциями господствующего класса в обстановке широких народных выступлений и внешних

¹ Le monde Byzantin, t. III, avant-propos, p. XXV.

² Actes du VI-e congrès international d'études byzantines, Paris, 1950, p. 10.

столкновений, — без учета которых невозможно понимание причин возвышения и падения отдельных династий.

Столь же поверхностной и идеалистической является трактовка особенностей строения и развития византийских учреждений. Брейе пишет: „Теория императорской власти, сложившаяся в Византии, является основой ее политических и административных учреждений“ (т. II, стр. 89). Описывая централизованное византийское государство и отмечая коренное отличие его от европейских государств раннего средневековья, автор даже не делает попытки поставить вопрос о причинах, обусловивших существование в Византии государства с сильной центральной властью и обширным бюрократическим аппаратом. Развитие и изменение структуры центрального и провинциального аппарата рассматривается, как правило, вне связи с социальной и экономической жизнью общества. Точно так же совершенно изолированно от социальной среды анализируется византийское право и организация суда. Брейе ищет объяснения характерных черт судебной организации Византии в „юридическом духе — наследстве древнего Рима, — который царил в учреждениях империи“ (т. II, стр. 219). С той же идеалистической точки зрения он трактует проблему создания византийского уголовного кодекса и реформ в сфере гражданского права. Так, все развитие уголовного права объясняется автором, с одной стороны, влиянием идей стоиков и неоплатоников на заимствованную Византией римскую систему наказаний и, с другой стороны, благотворным воздействием церкви (якобы смягчавшей нравы общества),¹ что привело к введению права убежища и замене смертной казни менее жестокими наказаниями (т. II, стр. 240). Явно идеализируя византийское законодательство, Брейе усматривает его влияние на западноевропейское право не в заимствовании последних сохранившихся в Византии норм римского права, регулировавших товарно-денежные отношения, а в приобщении народов Западной Европы к „понятиям общественного интереса, государственного блага“ (т. II, стр. 180).

В следующих главах II тома — „Дипломатия“ и „Армия и оборона империи“ — действительные отношения вновь оказываются искаженными. Брейе заявляет, что характер сношений Византии с другими народами предопределялся... концепцией императорской власти. Попытка решить важную проблему тысячелетнего существования Византии сводится к поверхностному утверждению, согласно которому причиной длительного существования империи являлись будто бы удачно организованная система обороны и выдающаяся дипломатия; военные учреждения и дипломатия объявляются фундаментом византийского государства.

Излагая историю церковных институтов империи, Брейе исходит из глубоко идеалистического представления о каком-то якобы самостоятельно совершавшемся развитии церковного права и теории, считая их отправным пунктом в истории церкви. Так, например, он пишет: „учение об автономии церкви оказывало такое же влияние на устройство судебных трибуналов, как и на режим собственности“ (т. II, стр. 523). Он даже не пытается выявить действительную роль церкви в феодальном мире, социально-политическое содержание ее институтов.

Равным образом история философии и науки рассматривается Брейе в отрыве от конкретной социально-экономической истории. Такой подход к истории философии и науки обуславливает всякого

¹ Даже стремление церкви расширить сферу своей юрисдикции Брейе объясняет... желанием церкви дать преступникам возможность морально возродиться посредством покаяния (т. II, стр. 243).

рода лженаучные толкования, даваемые автором различным явлениям идеологической жизни Византии; так, отличие византийской патристики от западноевропейской Брейе объясняет свойственной якобы византийцам „склонностью к метафизической интуиции, которая дает возможность познать место, занимаемое человеком в мировом порядке“, — у писателей Запада эта „склонность“, по мнению французского историка, отсутствовала (т. III, стр. 420—421). Брейе рассматривает отдельные философские системы Византии и влияние на них философии Платона и Аристотеля под углом зрения чистой филиации идей.

Далее, излагая взгляды исихастов и варлаамитов и историю борьбы между ними, он признает, что спор исихастов вышел из умозрительной сферы, что идеи, являвшиеся предметом спора, стали оружием одной из двух больших политических и социальных партий против другой и что соглашение между ними было невозможным. При этом основной причиной победы исихастов в XIV в. Брейе считает популярность монахов (т. III, стр. 438), в то время как в действительности эта победа являлась выражением торжества реакционных общественных сил (после разгрома восстания зилофов), результатом глубокой реакционности мистического учения паламитов, ставшего философией господствующего класса эпохи упадка Византии, а также того, что вследствие слабости развития зачатков капиталистических отношений, гуманистическое движение, зародившееся в первой половине XIV в., не могло получить в Византии сколько-либо значительного размаха. Поэтому совершенно необоснованным является утверждение автора относительно „триумфа гуманизма“ в Византии этого периода (т. III, стр. 438).

Таким образом, при анализе политических, правовых взглядов общества и соответствующих им учреждений Брейе целиком стоит на идеалистических позициях.

Брейе, как большинству современных буржуазных ученых, глубоко чужда идея закономерности общественного развития, чуждо представление о развитии общества как о процессе последовательной смены социально-экономических формаций, о революционном характере перехода от одного способа производства к другому.

Брейе не видит основных особенностей раннего периода истории Византии, в частности, более длительного, чем на территории Западно-Римской империи, сохранения рабовладельческой формации и перехода в VII в. к новым, феодальным отношениям. Он не останавливается на вопросе о роли рабства в IV—VI вв. — в период кризиса византийского рабовладельческого общества, а также — на проблеме сохранения рабовладельческого уклада в эпоху складывания феодальных отношений, хотя, как известно, это обстоятельство, составлявшее одну из характерных черт истории Византии, наложило значительный отпечаток на дальнейший ход развития византийского общества. О рабах бегло упоминается в двух разделах III тома: в главе о семье и семейной жизни автор говорит о наличии в Византии рабов, являвшихся членами „familia“ в античном смысле слова, и в главе о сельском хозяйстве — о рабах, обрабатывавших землю крупного поместья. Об использовании рабского труда в ремесле вообще не упоминается. Процесс постепенного освобождения рабов в Византии объясняется не тем, что рабский труд стал экономически невыгодным и поэтому появилась потребность в более инициативном работнике, а тем, что „освобождение рабов рассматривалось как доброе дело“ (т. III, стр. 15 и 164).

В главе, посвященной характеристике промышленности Византии, содержится лишь перечисление различных отраслей византийского

ремесла, описание производимых изделий и краткие сведения об учениках. Автор избегает ставить такие важные проблемы, как, например, вопросы внутренней организации ремесла, устройства ремесленных корпораций, вопрос о роли труда наемных рабочих-мистиев в цехах, о социальном расслоении внутри эргастриев и положении мелких ремесленников, наконец, — о структуре государственных мастерских.

В то время, как еще русские буржуазные ученые (Ф. И. Успенский и др.) доказали, что в Византии развивались феодальные отношения, Брейе нигде не ставит вопроса о византийском „феодализме“ и вообще не пытается установить характера господствовавшего в Византии социально-экономического строя. Термин „феодализм“ ни разу не встречается в его работе. Изучению социально-экономических вопросов отведен лишь небольшой раздел III тома — менее $\frac{1}{7}$ его части. Брейе рассматривает аграрный строй Византии статически, смешивая различные периоды и не замечая принципиального различия между эпохой распада рабовладельческого строя, эпохой складывания феодальных отношений, временем наивысшего развития византийского феодализма и периодом его разложения. При освещении отдельных конкретных вопросов (структуры крупной земельной собственности, цен на землю и пр.) он привлекает примеры, относящиеся к самым различным эпохам — от IV до XIV вв. Так, рисуя картину крупного хозяйства в Египте позднеримской эпохи (V—VI вв.), автор наделяет его теми же характерными признаками, которые были свойственны поместью VII—VIII, IX, XI, XII и XIII вв., не замечая различия ни в методах эксплуатации непосредственных производителей, ни в характере внеэкономического принуждения и т. д.

Брейе не только бессилён решить кардинальные проблемы истории Византии, — он отказывается от самой постановки этих проблем. Единственный процесс, который он замечает в сфере социально-экономических отношений, — это процесс постепенного поглощения мелкой крестьянской собственности крупной; однако в трактовке этого вопроса он допускает ряд ошибок.

Брейе видит лишь количественную, а не качественную сторону процесса исчезновения самостоятельных мелких крестьянских хозяйств, который в действительности свидетельствует о коренных переменах в самой социальной структуре общества — возникновении и укреплении феодальной собственности на землю, которая составляла основу нового, феодального способа производства. По Брейе, крестьянские хозяйства существовали в некотором количестве в IV—VI вв., в VII в. их число увеличилось, ибо „мелкая собственность развилась за счет серважа (т. III, стр. 167), а в дальнейшем, с XI в. оно постепенно все более уменьшается, пока, наконец, мелкие свободные собственники не исчезают полностью в последний период существования империи.

Итак, VI—VII вв., являвшиеся в действительности переломным периодом в истории Византии, временем полной ликвидации старых общественных отношений под ударами восстаний народных масс империи и вторжений славян, — согласно Брейе — период простого увеличения числа крестьянских хозяйств. Он даже не упоминает о массовой славянской эмиграции, сыгравшей столь крупную роль в исторических судьбах империи. Брейе утверждает, что „своим спасением и своим величием в X в.“ империя была обязана реорганизации армии — фемной реформе (т. II, стр. 352), которую он описывает вне какой бы то ни было связи с характеристикой аграрного строя. Брейе не понимает,

что эта реформа стала возможной именно вследствие происшедшего в империи аграрного переворота.

Не замечая революционного характера перехода Византии к новому, феодальному строю, Брейе рисует ее историю как плавное развитие римских учреждений и культуры. Он противопоставляет путь развития Византии тому, по которому шло развитие Западной Европы; там произошел полный разрыв с римскими традициями и, вследствие „варварских“ вторжений и революций, возникли „варварские“ монархии, а затем — феодальный режим, полностью противоположный в своей основе строю Римской империи. В отличие от Запада, „в Византии то же публичное и частное право, те же учреждения господствовали без перерыва на протяжении десяти веков... Все, что исчезло на Западе при соприкосновении с варварами, сохранилось в Византии: понятие государства и публичного права, города и городские классы, техника различных ремесел, искусство и науки“ (т. II, стр. 580—581). Подчеркивая эту „историческую преемственность и верность римским традициям“ (т. II, стр. 581), Брейе рассматривает византийские институты как „органическое развитие римского государства“ (т. II, стр. 582), происходившее при некотором восточном влиянии, еще большей эллинизации восточной половины империи. Это влияние, по Брейе, проявилось в заимствовании с Востока отдельных характерных черт политического строя, быта и т. д.; к числу этих элементов общественного строя Византии, развившихся якобы под восточным влиянием, относятся: важное политическое значение дворцовых должностей, в значительной части замещавшихся евнухами, этикет и титулы знати (т. II, стр. 583), заточение женщин, моды, одежды, прически, ношение пышных и ярких тканей и драгоценностей, пытки, суеверия, магия, астрология и манихейская доктрина (т. III, стр. 571).

Стремление объяснить все особенности византийской экономики, политических и правовых учреждений, а также ее культуры и быта заимствованием римских или восточных элементов приводит автора к механическому и крайне упрощенному расчленению истории Византии на римские и восточные „начала“. Таким образом, крайняя методологическая беспомощность Брейе имеет своим результатом отказ от признания внутренней закономерности исторического развития. Запад, по мнению Брейе, перешел к новой фазе развития — „к феодальному режиму“, в Византии же получили дальнейшее развитие римские начала, с некоторой примесью восточных, что, однако, не привело к коренному изменению византийского общества.

В свою очередь, отказ от признания внутренней закономерности исторического процесса приводит Брейе к переоценке им значения внешних влияний: он часто считает внешнее влияние одной страны на другую решающим фактором изменения основного направления исторического развития. Автор полагает, например, что возрождением городов, ростом торговли и ремесла, быстрым развитием экономики с XI в. Западная Европа была обязана... Византии. Он пытается доказать это антиисторическое положение следующим образом: в VIII в. Византия остановила волну арабских вторжений, а в IX и X вв. она положила конец морскому разбою сарацин в двух бассейнах Средиземного моря и восстановила свободу мореплавания и морской торговли. „Результаты этого великого события, — продолжает Брейе, — не заставили себя ждать. Запад, оставшийся полуварварским, был, в известном смысле, возрожден этим восстановлением международной торговли, которое привело к образованию сети городов и крупных портов, а также к форми-

рованию городского класса, организации итальянского, каталонского и провансальского флота, открытию больших международных ярмарок, подъему промышленности определенных областей и, в общем и целом, — к новому расцвету экономики. В политическом аспекте это возрождение способствовало образованию упорядоченных и хорошо управляемых государств“ (т. II, стр. 584). Итак, влиянием Византии объясняются важнейшие перемены в общественном строе Европы, в действительности являвшиеся результатом роста производительных сил и других внутренних процессов.

Эта переоценка роли Византии в истории Европы связана со свойственной автору идеализацией Византии, о чем мы скажем ниже.

Точно таким же образом, полностью игнорируя внутренний ход развития западноевропейских государств, Брейе пытается приписать и некоторые другие крупнейшие сдвиги в истории всей Западной Европы и отдельных ее стран влиянию Византии. Он пишет: „На островах Риаальто Венеция превратилась в город, организованный точно по образцу Константинополя, у которого она восприняла цивилизацию“ (т. III, стр. 136). Более того, все идейное и культурное содержание эпохи Возрождения в Западной и Центральной Европе Брейе приписывает исключительно влиянию византийских ученых. Он утверждает, что благодаря Византии, спасшей от разрушения сокровища античной цивилизации и борющейся в течение 1000 лет за их сохранение, Запад приобрел к культуре античности. По Брейе, это „приобретение“ произошло благодаря тому, что европейцы были обучены византийскими учеными и философами, которые появились в Италии и других странах Запада еще до крушения Византии, но лишь после 1453 г., в результате их массового бегства с родины, смогли полностью познакомиться Европу с интеллектуальным наследством Византии; поэтому „в течение последней половины XV в. и первой трети XVI в. эллинизм буквально завоевал Европу“ (т. III, стр. 572). Наиболее знаменитые представители западного гуманизма — Рейхлин, Эразм Роттердамский, Бюдэ и другие обучались у византийских ученых. Лишь после смерти в 1472 г. Виссариона Никейского, дворец которого был центром эллинистической пропаганды, это движение продолжило первое поколение западных эллинистов. Таким образом, „это широкое движение мысли, изменившее облик мира, ... было тесно связано с интеллектуальным творчеством Византии, и западная образованность изменила с XV в. свое направление благодаря трудам византийских филологов“ (т. III, стр. 574).

Развивая свой тезис о перенесении гуманизма в Европу из Византии, Брейе совершает ряд серьезных ошибок. Как известно, гуманизм был идеологией буржуазии эпохи первоначального накопления, выступившей против феодализма и против всей системы феодального мирозерцания. Зарождение новой идеологии и культуры было следствием глубоких изменений общественного строя Европы. Между тем, идеалист Брейе не только не связывает этой перемены в сфере идеологии с возникновением нового способа производства, но самое изменение условий общественной жизни считает следствием широкого „движения“ мысли в период Возрождения. На самом деле ученые, бежавшие из Византии, повысили на Западе интерес к культуре древней Греции и Рима, привезли ряд ценных рукописей, обучали греческому языку и т. д., но они отнюдь не были, как думает Брейе, „настоящими инициаторами Ренессанса“ (т. III, стр. 488). Наоборот: возможность их активной деятельности сама по себе была обусловлена возникшей в Европе настоятельной потребностью в знатоках греческого языка и античной культуры.

Наконец, Брейе ошибочно считает Возрождение возвратом к античности, не улавливая принципиально иного, нового содержания этой культуры и идеологии. Он сводит все идейное движение Возрождения к изучению античной культуры, которое, по его мнению, получило распространение благодаря красоте литературной формы древних, богатству их языка, высокой и чистой морали, дававшей наиболее прекрасные образцы добродетели, мужества и бескорыстия (т. III, стр. 489). Между тем, подлинное значение гуманизма заключалось в его антифеодалных идеях, которые, являясь мощным оружием в руках молодой буржуазии и выступавших против феодального строя народных масс, активно содействовали развитию и укреплению капиталистических отношений.

С целью обоснования своей „теории“ перенесения гуманизма из Византии в Европу Брейе намеренно смещает хронологические рамки, умалчивая о том общеизвестном факте, что начало Возрождения в Италии относится не к XV, а к XIV в.

„Теория“ Брейе не случайно вызывает похвалу Берра, который называет страницы его книги, посвященные гуманизму, наиболее важными „с точки зрения роли идеи, а следовательно — нашей (!) концепции истории“.¹

Как и у многих других буржуазных историков, отказ Брейе от признания объективной исторической закономерности влечет за собой переоценку им роли личности в истории. Могущество Византии было, по мнению Брейе, результатом деятельности византийских императоров и их приближенных, якобы смело разрешивших основные государственные проблемы. Императорам и их приближенным всецело приписывается успешное введение фемного устройства, увеличение обороноспособности Византии, законодательная защита мелкой крестьянской собственности, которой угрожали динаты, создание хорошо организованной бюрократии, мудрая дипломатия, защита промышленности и торговли — источника процветания страны, политика заселения опустошенных войнами и эпидемиями областей эмигрантами и т. д. (т. II, стр. 582, 364 и др.). В свою очередь, многие крупнейшие поражения Византии рисуются, как следствие неудачной политики отдельных императоров и целых династий. Ошибки династии Ангелов вызвали, по мнению Брейе, распад империи и ее завоевание в 1204 г. западноевропейскими рыцарями (т. II, стр. 24). Постепенный упадок Византии в XI—XV вв. и ее гибель в значительной мере объясняются отказом византийских императоров этого периода, начиная с Романа Аргири, отменившего в 1028 г. законы Василия II, от политических принципов, на которых зиждилось величие империи, и неустойчивостью их внешней политики (т. II, стр. 383 и др.).

Не менее характерны для современной буржуазной историографии отрицание классовой борьбы в Византии, отчетливо проступающее в работе Брейе, и связанная с этим идеализация византийского государства.

Один из основных тезисов, который стремится доказать Брейе, заключается в следующем: „социальная история Византии представляла собой непрерывную борьбу между крупными земельными собственниками и центральной властью“ (т. III, стр. 152). Эта „постоянная борьба императоров против местных сил являлась внутренней драмой империи“ (т. II, стр. 90). Автор утверждает, что эта борьба и была борьбой

¹ Le monde Byzantin, t. III, avant-propos, p. XXI.

двух классов — „провинциальной земельной знати, смешавшейся с казистой военачальников, и дворцовой бюрократией, . . . враждебной военной аристократии“ (т. II, стр. 383). Начавшаяся в XI в. борьба между провинциальной военно-служилой знатью и столичной бюрократией сыграла роковую роль в истории империи. Византия все более слабеет вследствие упадка центральной власти под ударами крупных собственников, захвативших различного рода привилегии и иммунитетные права.

Но, подробно останавливаясь на противоречиях между различными фракциями господствующего класса и уделяя большое внимание вопросу о росте могущества династов, ограничивших императорскую власть, Брейе обходит молчанием борьбу между эксплуататорами и эксплуатируемыми, которая в Византии протекала чрезвычайно остро и которая составляла основную черту истории Византии, как и любого другого феодального общества. Он ничего не говорит об эксплуатации крестьян, возраставшей по мере развития феодальных отношений, о расслоении внутри цеха и об эксплуатации подмастерьев, учеников и наемных рабочих. Равным образом замалчивается история многочисленных широких народных движений, которые в VI—VII вв. были одной из основных сил, обусловивших революционный переход к новому, феодальному способу производства и которые сыграли столь важную роль в последующий период. В частности, описывая крестьянскую общину на основании данных „Земледельческого закона“, Брейе не указывает на то, что община послужила основной ячейкой упорного сопротивления крестьян крупным землевладельцам.

Едиственные факты из истории социальной борьбы в Византии, на которых Брейе останавливается — восстания димов и движение зилотов; но эти восстания изображены в его книге в искаженном виде, — в соответствии с общей тенденцией автора к всемерному затушевыванию классовых противоречий. Брейе (подобно С. Манойловичу, И. Янсенс и Ж. Братиану), указывая на социальные и политические различия между димами (т. II, стр. 197—198), считает димы социально-однородными организациями: венеты, по его утверждению, принадлежали к аристократии, а прасины — к низшим слоям городского населения, причем обе партии были „защитниками народа“ (т. II, стр. 198). Как показали исследования советских ученых — А. П. Дьяконова, М. В. Левченко и Н. В. Пигулевской, основную массу димов составили народные массы города и деревни, которые во время крупных восстаний 532 г., 602 г. и др. выступали как против правительства, так и против руководящих групп димов (аристократов-землевладельцев, возглавлявших венетов, купцов и владельцев ремесленных предприятий, возглавлявших прасинов). Таким образом, массовые движения димов были ярким проявлением классовой борьбы эксплуатируемых против всех прослоек господствующего класса в период кризиса рабовладельческого общества. Брейе неправильно оценивает значение этих движений в ходе исторического развития Византии.

Останавливаясь на движении зилотов в 1342—1349 гг., Брейе пишет о выступлениях масс Фессалоники, Адрианополя и других городов против знати. Но он сразу же извращает действительный характер расстановки классовых сил, изображая союзника Анны Савойской — Алексея Апокавка (стремившегося использовать народные движения в борьбе правительства „законного“ короля Иоанна V против узурпатора — Кантакузина) как врага знати, якобы благожелательно настроенного по отношению к беднейшим слоям населения городов. Причиной падения

Фессалоники Брейе считает ссору между двумя архонтами города — Алексеем Метохитом и вождем зилотов Андреем; действительные причины поражения восстания — незрелость городского плебса и др. — остаются вне поля зрения автора. Брейе умаляет размах этого крупнейшего народного восстания, не упоминая, что для его подавления Кантакузину пришлось обратиться за помощью к туркам. В целом Брейе дает общую отрицательную оценку восстанию зилотов; он заявляет, что оно способствовало увеличению анархии (т. II, стр. 216), тогда как на самом деле значение его заключалось совсем в другом: поражение зилотов означало для Византии ликвидацию последней возможности спасения.

Игнорируя классовую борьбу, Брейе, естественно, останавливается лишь на внешней истории еретических движений и их догматической стороне. Он не делает попытки проследить, почему с определенными историческими периодами связано бурное развитие еретических движений, какие слои населения поставляли их участников, какие устремления и чаяния выражали доктрины „еретиков“ и т. п. Таким образом, от него ускользает социальная сущность прогрессивных плебейско-крестьянских антифеодалных движений павликиан и богомилов. Причиной распространения богомильства в Болгарии он считает не внутренние процессы, происходившие в это время в стране, а переселение в нее императорами-иконоборцами и Иоанном Цимисхием жителей восточных провинций империи, последователей манихейства, и бегство в Болгарию павликиан в конце IX—X вв. (т. III, стр. 295 и 297).

Представляя развитие Византии как процесс, лишенный глубоких внутренних противоречий, признавая лишь наличие антагонизма между провинциальной знатью и столичной бюрократией в последний период существования империи, Брейе, подобно А. Грегуару, А. Андреадису и многим другим представителям современного буржуазного византиноведения, изображает византийское государство в идиллических тонах. „Обоснование“ реакционной идеи о надклассовом характере византийского государства является одной из основных задач труда Брейе.

По утверждению Брейе, в IV—V вв. жители империи, принадлежавшие к различным народностям, осознали свою солидарность перед лицом варваров, свою связь с великим римским прошлым, свой патриотизм и приверженность к благу империи (т. II, стр. 2—3). Следовательно, период крупнейших восстаний рабов и колонов, нередко объединявшихся с вторгавшимися „варварами“, изображается французским историком как эпоха трогательного единодушия всех народов и всех слоев населения империи, сплотившихся будто бы для защиты своего отечества (Брейе даже говорит о появлении в источниках этого периода термина „национальный“ в современном значении слова — т. II, стр. 2). Это вымышленное автором „единодушие“ в защите „отечества“ он объясняет тем, что византийское государство имело будто бы своей целью „защиту общих интересов, которые можно выразить одним словом: общее дело, республика — понятие, исчезнувшее на Западе и уцелевшее в Константинополе“ (т. II, стр. 218). Поэтому, — заключает Брейе, — византийское государство с его правосудием, финансами, дипломатией, почтой, армией представляет собой образец современного государства, существовавшего в средние века. Сильная центральная власть обеспечивала социальный порядок и экономическую независимость государства (т. II, стр. 248); византийский бюрократический аппарат являлся, по мысли Брейе, рациональной системой правления, так как благодаря ему в Византии, в отличие от других стран, была

возможна социальная жизнь, основанная на силе закона (т. II, стр. 168). В этих словах получила яркое выражение тенденция к затушевыванию подлинного эксплуататорского характера византийского государства, которое, подобно другим государствам средневековья, всегда являлось орудием господства правящего класса.

Брейе свойственна столь распространенная в буржуазной литературе (Ш. Диль, Г. Острогорский и др.) идеализация деятельности представителей Македонской династии. В частности, Василий I и Лев VI изображаются как защитники интересов народных масс, озабоченные предоставлением беднякам возможности принести жалобы на магнатов (т. II, стр. 225—226). Стремясь убедить читателя в том, что в Византии существовала тесная связь между императором и народом, Брейе — вопреки общеизвестным фактам — приписывает народу, „законным“ путем обращавшемуся к императору, огромное влияние на политику последнего, а также преувеличивает роль народа в выборах императора, которые он называет демократическими (т. II, стр. 7). Неоднократно автор говорит о „развитии династического чувства“ у народа (т. II, стр. 33), о „привязанности населения к законной династии“ (т. II, стр. 22; см. также т. II, стр. 34 и 36) и пр. Утверждая, что образование в Византии было общедоступным и учащиеся императорского университета „представляли все классы общества“ (т. III, стр. 487), Брейе называет „чрезвычайно демократичным“ и метод вербовки чиновников для государственного аппарата: эта вербовка открывала, по его мнению, доступ к наиболее высоким государственным должностям — по крайней мере до XI в., — всем подданным (т. II, стр. 154).

Реакционная сущность всех этих положений Брейе выступает совершенно ясно. Брейе говорит о социальном благополучии в Византийской империи — стране жесточайших классовых противоречий и в Константинополе, который, по словам К. Маркса, „... все более становится главным центром роскоши и нищеты на всем Востоке и Западе“.¹

Как известно, огромная бюрократическая машина империи, содержание которой всей своей тяжестью ложилось на трудящихся, являлась одним из органов государства для подавления и эксплуатации угнетенного класса — Брейе же изображает ее хранительницей порядка, безопасности и законности, действовавшей якобы в интересах широких слоев населения. Несомненным извращением исторической действительности является утверждение автора о единодушии между императором и его подданными, питавшими будто бы искреннюю привязанность к своему законному повелителю.

В Византии государственная власть — политическая надстройка — в период кризиса рабовладельческого общества активно боролась за сохранение старого базиса, старых форм эксплуатации, а в следующую эпоху — развития феодальных отношений — деятельно укрепляла последние, защищая свой базис.

Поэтому во время крупных восстаний народные массы города и деревни выступали не только против господствующего класса, но и против его оплота — рабовладельческого (восстания димов и др.), а позднее — феодального государства. Проявлявшееся иногда „влияние“ народа на политику императоров было в действительности результатом этих восстаний: например, аграрное законодательство Македонской династии, столь восхваляемое Брейе, являлось в определенной степени

¹ К. Маркс. Хронологические выписки. Архив Маркса и Энгельса, т. V, стр. 193.

следствием восстания Василия Медной Руки в 932 г. и других мощных народных движений.

Брейе дает высокую оценку системе постоянного надзора и „опеки“ над населением, составлявшей одну из особенностей византийского деспотического государства. Государственное регулирование экономической жизни, строгая и мелочная регламентация ремесла, производившаяся в интересах государства и стеснявшая развитие ремесленного производства, объявляются причиной „величия и успеха экономических мероприятий Византии“ (т. III, стр. 221) в эпоху наибольшего могущества империи, а их исчезновение в следующий период — причиной захвата византийской торговли итальянскими городами.

Сильная, опирающаяся на обширный бюрократический аппарат власть, которая сделала Византию оплотом деспотизма, — вот что особенно привлекает симпатии автора. Благодаря этой власти, — считает он, — Византии не пришлось пережить тех революционных потрясений, которые имели место на Западе, и в стране без всякого перерыва (*hiatus*) продолжали развиваться унаследованные от древности учреждения и традиции (т. II, стр. 218). В Византии, якобы избежавшей массовых народных революций и испытавшей лишь государственные перевороты, царил, по выражению Брейе, консервативный дух (*l'esprit conservateur*), который автор сравнивает... с духом современной Англии; по мнению Брейе, этот консервативный дух в Англии выражается в уважении к традиции, которое является политическим орудием, скрепляющим единство страны; в Византии он проявлялся в приверженности к обычаям, целью которых было возвеличение императорского достоинства и превращение его в объект почитания (т. II, стр. 65—66). Следовательно, Брейе восхваляет Византию именно за те характерные черты византийского государства, которые побудили К. Маркса назвать его „самым худшим государством“.¹ Стремление идеализировать это государство заставило Брейе вступить на путь фальсификации истории.

Полная методологическая беспомощность Брейе лишает его возможности понять основные причины гибели Византийской империи. Считая положение Византии V—X вв. блестящим, Брейе отказывается признать, что уже в VIII—X вв. начали развиваться те процессы, которые он сам считает причиной упадка и крушения византийского общества и „неожиданное“ возникновение которых он относит к XI в. Действительно, в качестве причин этого упадка и гибели Византии Брейе отмечает, с одной стороны, усиление крупных светских и церковных земельных собственников, приобретение ими проний и закрепощение ранее свободного крестьянства, с другой, — связанный с увеличением могущества династов упадок государственной власти; последний имел своим следствием крушение византийской монетной системы и утрату экономической независимости империи, столица которой превратилась в поле битвы между Генуей и Венецией, что сделало невозможным возрождение торговли и ремесла (см. т. II, стр. 165, 248, 583; т. III, стр. 225 и др.). Однако Брейе не понимает, что все эти явления в действительности были выражением более всеобъемлющего процесса — процесса феодализации византийского общества, начавшегося задолго до XI в. Мы уже указывали, что Брейе вообще отрицает наличие феодального строя в Византии.

Идеалистическая концепция Брейе обуславливает органическое непонимание им определяющего значения уровня развития произво-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. I, стр. 192.

дительных сил и характера производственных отношений, составляющих в своем единстве господствующий в данный период способ производства. Лишь исследование византийского феодализма и присущих ему характерных особенностей (наличие дофеодалных укладов — рабовладельческого и общинного и т. п.) может послужить ключом к уяснению истории Византии. Тупик, в который зашло византийское общество, был следствием специфики развития феодального строя, слишком медленного его разложения и слабости возникавших зачатков капиталистических отношений; выходом из этого тупика могла быть лишь коренная ломка существующих порядков. Все эти проблемы остаются совершенно вне поля зрения Брейе.

В заключение следует отметить еще один вопрос, трактовка которого подверглась грубому искажению на страницах рецензируемой книги, — вопрос о русско-византийских отношениях и о характере и размерах влияния византийской культуры на русскую.

Автор придерживается распространенной в современной буржуазной историографии и сугубо реакционной так называемой „норманистской“ теории происхождения русского государства. Следуя за тенденциозными построениями А. Васильева,¹ Брейе изображает варягов „основателями первого русского государства“ (т. III, стр. 202). Он приписывает варягам заслугу основания русских городов (равным образом, крупнейший славянский порт на Балтийском море — Волин — был, по его мнению, создан норманнами), а также — установления торговых сношений с соседними народами, в частности, с Византией (т. III, стр. 202—203). Между тем, Б. Д. Греков и другие советские ученые неопровержимо доказали на основании письменных источников и памятников материальной культуры (кстати, в большей своей части неизвестных Брейе, который знаком лишь с археологическими материалами, найденными в XIX в. — т. III, стр. 193), что русское государство, являвшееся продуктом развития общественных отношений на его определенном этапе, уже существовало у славянских народов к моменту прибытия Рюрика в Новгород, и что варяги восприняли более высокую культуру славян, имевших много городов, развитое земледелие и находившихся в торговых сношениях с арабами и другими народами.

Повторяя живые измышления А. Васильева,² пытавшегося посредством прямых подлогов принизить историческую роль русского народа, Брейе заявляет, что „Русь, будучи независимой, занимала подчиненное положение в иерархии государств. Она не только была подчинена в церковном отношении вселенскому патриарху, но... она всегда считалась в Константинополе вассальным государством империи“ (т. II, стр. 285, см. также т. II, стр. 473). В подтверждение этого Брейе ссылается на выражение Псела, назвавшего вторжение русских в 1043 г. мятежом, на фрески собора св. Софии в Киеве, изображающие Ярослава, дарующего византийскому императору модель церкви, на принятие русскими князьями лишь при Иване III титула царя и, на то, что русские нередко оказывали военную помощь Константинополю.

Необоснованность аргументации Брейе очевидна. Связь русской церкви с византийской, разумеется, не является доказательством вассальной зависимости Руси, в наличии которой пытается убедить читателя Брейе. Еще меньше основания считать принятие царского титула Иваном III свидетельством зависимого положения Руси в пред-

¹ A. Vasiliev. The Russian Attack on Constantinople in 860, Cambridge, 1946.

² A. Vasiliev. Was old Russia a vassal State of Bizantium? „Speculum“, 1932.

шествующую эпоху. Посылка русскими военных дружин на помощь византийскому императору говорит о том, что Византия часто вынуждена была прибегать к помощи русских в период серьезных внешних и внутренних осложнений. Походы Святослава являются достаточным свидетельством того, насколько опасным соседом для Византии являлось Киевское государство в период обострения отношений между ними. Доказательством равноправного положения Руси и Византии является также содержание русско-византийских торговых договоров, о которых лишь вскользь говорит Брейе (т. III, стр. 204). Упомянутый Пселлом поход 1043 г. показателен именно в отношении непоколебимости политики охраны равноправия Руси, проводившейся Ярославом, как и другими русскими князьями. В княжение Ярослава, на изображение которого на фреске ссылается Брейе, проводилась энергичная борьба с попытками Византии подчинить Русь своему влиянию. Достаточно упомянуть об избрании русского митрополита Иллариона, о грандиозном киевском строительстве, предпринятом с целью повышения значения столицы государства, и т. п. Такого рода факты игнорируются Брейе, так как полностью разрушают его концепцию.

Столь же лишено всякого научного обоснования утверждение Брейе, что русское искусство якобы было по существу византийским искусством, перенесенным на Русь вместе с христианством (т. III, стр. 565). Он пытается доказать, что киевская церковная архитектура была прямым подражанием византийской, что киевская, новгородская и суздальская школы живописи будто бы лишены всякой оригинальности; в образцах росписи рукописей и икон и в стенной живописи Киева, Новгорода XI—XV в., Москвы XIV—XV вв. автор видит исключительно византийское влияние (т. III, стр. 566—570). Таким образом, отрицается яркая и самобытная культура Киевского и — позднее — Московского государства, великие культурные традиции русского народа, художественный гений которого, восприняв лучшие византийские, армянские, сасанидские и другие образцы, создал собственное, неповторимое в своем своеобразии искусство (оригинальная архитектура церквей Киева, Новгорода, Чернигова и других городов, новые художественные композиции и стиль русской живописи и пр.). Брейе отрицает творческую самостоятельность величайшего мастера русской живописи конца XIV—начала XV в. — Андрея Рублева, знаменитую „Троицу“ которого он называет шедевром... византийского искусства эпохи Палеологов (т. III, стр. 276).

Труд Брейе, задавшегося целью дать полное изложение византийской истории, учреждений и цивилизации, даже претендующего на выяснение „темперамента народа, его идеала, его жизни в ее конкретной реальности“ (т. III, стр. 1), ярко показывает бессилие буржуазного историка-идеалиста, который не в состоянии постигнуть внутреннюю связь исторических событий. Лишенная твердой научной основы, история в его изображении превратилась в хаотическое скопление фактов, которым дается извращенное толкование. Общие выводы, которые автор пытается формулировать, доказывают лишь его полную неспособность к обобщениям. Иногда Брейе изобретает „законы“ общественного развития, являющиеся полной нелепостью. Так, например, он находит, что история древнеримской империи и история Византии имеют между собой много общего: в обеих империях сменялись в регулярном ритме периоды спокойствия, процветания и мира и периоды военных мятежей и внутренних усобиц. В подтверждение своего „открытия“ Брейе приводит цифры, свидетельствующие о приблизительно одинаковом соотношении количества императоров, убитых во время переворотов;

низложенных и умерших естественной смертью в Римской империи и в Византии (т. II, стр. 17).

Неумение выделить основное в обширном материале, которым Брейе располагал, приводит к тому, что он уделяет много места целому ряду второстепенных вопросов, подробно описывая частную жизнь императоров, придворный церемониал, внутреннее убранство церквей и отдельные детали религиозного культа, костюмы и прически византийцев и т. п. Игнорирование наиболее существенных вопросов истории Византии и неправильное освещение проблем, затронутых в „Византийском мире“, приводит к полной неудаче попытки Брейе дать, на основании работ других буржуазных ученых, синтез истории Византии. Эта неудача не случайна: она знаменует собой глубокий упадок современного буржуазного византиноведения.

М. Л. Абрамсон

F. DVORNIK. THE PHOTIAN SCHISM

History and Legend, Cambridge, 1948.

В последнее время Ватикану отводится все более значительная роль в планах международной реакции. Ватикан приобретает особое влияние благодаря своему огромному опыту пропаганды реакционной идеологии, накопленному в течение столетий. Не в силах найти в арсенале средств воздействия на массы никаких доводов, кроме апелляции к „западной культуре“ и „европейской цивилизации“, империализм хватается за христианство. Идеологи католицизма, стремясь к консолидации своих сил, выдвигают противоречивый историческим фактам тезис о том, что христианская церковь всегда якобы была единой и сплоченной. В частности, они придают огромное значение доказательству того, что в своем воздействии на славянские народы Восточной Европы западная и восточная церковь действовали якобы единым фронтом и именно этому воздействию славянские народы будто бы и обязаны развитием своей культуры.¹

В связи с этим в католической историографии наметился отход от прежних представлений о так называемой фотийской схизме, обусловившей разрыв между западной и восточной церквами в IX в. Одним из видных сторонников этой точки зрения был кардинал Гергенрётер,² прямо называвший Фотия виновником этого разрыва.

Автор рецензируемой книги бывший чешский католический епископ Франтишек Дворник, не вернувшийся в Чехословакию из эмиграции после 1945 г., полностью порывает с прежними воззрениями и пытается пересмотреть вопрос о фотийской схизме.

Патриарх Фотий — одна из значительных фигур в истории Византии IX в. Незаурядный и плодовитый писатель, оставивший после себя немалое наследство, он сыграл большую роль в литературной жизни этого столетия. В то же время Фотий являлся крупным церковно-политическим деятелем. Именно он проводил мероприятия по распро-

¹ A. Gregoire. The Disruption of European Unity: the Greek Schism and its lasting political implications. „Belgium“, II (1942).

² J. Hergenröther. Photius, Patriarch von Konstantinopel, Regensburg, 1867—1869.

странению христианства среди славянских народов Восточной Европы; с его именем связаны и проповедь солунских братьев, и принятие Болгарией христианства. Служа политическим интересам византийского правительства, Фотий пошел на разрыв с папой Николаем I, когда тот под предлогом вмешательства в борьбу церковных партий в Византии выступил с непомерными политическими притязаниями. Этот разрыв и составил „первую схизму“ Фотия. Мнение, что такого же направления продолжал держаться Фотий и в годы своего второго патриаршества, было общепризнанным в буржуазной исторической литературе.

Ф. Дворник отказывается от этого представления. Как гласит предисловие к книге, Дворник считает, что „историки и церковники Запада ошибались во взглядах на Фотия“. К каким же выводам приходит сам Ф. Дворник?

В первой части, озаглавленной „История“, автор подробно останавливается на событиях первого патриаршества Фотия, рассматривая сложную политическую ситуацию в момент избрания Фотия на место удаленного патриарха Игнатия. Автор отмечает, что современные Фотию церковные историки, в том числе и Никита Пафлагонянин, обвиняют Фотия не только в нарушении канонических правил об избрании патриарха, но и в жестоких гонениях на партию своего предшественника.

Уже при изложении этих событий автор начинает осторожно реабилитировать Фотия. Прежде всего он стремится навязать читателю вывод, что не Фотий и его сторонники первые начали борьбу. Наоборот, утверждает Ф. Дворник, именно игнатиане, ядром которых было многочисленное, укрепившееся после восстановления иконопочитания и поэтому рьяно рвавшееся в бой монашество, потребовали от Фотия, чтобы он всю свою деятельность подчинил указаниям „законного“ патриарха (Игнатий, удаленный с кафедры, не сложил с себя патриаршего сана). За игнатианами новому правительству Михаила III и Варды чудились фигуры свергнутой царицы Феодоры и ее партии, и поэтому на них обрушилась волна правительственных репрессий. По мнению Ф. Дворника, Фотий был непричастен к этим гонениям.

Взгляды автора раскрываются далее при трактовке им вопроса о соборе 861 г., созванном папой Николаем I для пересмотра дела Игнатия. Собор 861 г. всегда привлекал внимание историков. Именно на этом соборе папа обнаружил свои хищные экспансионистские устремления, потребовав передачи (формально — „возврата“) под его юрисдикцию Сицилии и Македонии (Сиракузской и Солунской епархий). Рисуя обстановку и ход событий на соборе, автор крайне тенденциозно изображает политику Фотия и в то же время всячески воздерживается от осуждения действий папы. Он говорит о пышной встрече папских легатов, о желании Фотия пойти на компромисс и даже утверждает, что византийское правительство разрешило демонстрации в пользу Игнатия, стремясь избежать осложнения отношений с римской курией. Все это пишется с целью подвести читателя к выводу о том, что Фотий на соборе 861 г. решительно проводил политику мира и уступок.

Болгарский вопрос, вставший на очередь дня после собора 861 г., определил изменение отношений между римской и константинопольской церквями. С принятием христианства в середине IX в. Болгария на короткий период входит в сферу церковного влияния Византии. Этому событию предшествует (равно как и следует за ним) ожесточенная борьба Рима и Византии за влияние в стране, борьба, которая привела к резкому обострению отношений между обеими церквями, пока актив-

ное вмешательство папы в болгарские дела не вызвало, наконец, ликвидации кажущегося церковного единства. „Папа посылал к болгарам *итальянских миссионеров*, это дало повод к полному разделению церкви на 2 части“.¹

Ф. Дворник предлагает иное истолкование этих событий. Автор цитирует письмо, по его мнению, написанное Фотием папе после собора. В нем Фотий, мягко и почти извиняясь, пытается оправдать свои действия на соборе 861 г. Больше того, на основании одного чрезвычайно туманного места в письме автор делает вывод о том, что Фотий был готов пойти на серьезные территориальные уступки папе, а именно — отказаться от прав на Иллирик. Он бы сделал эти уступки еще на соборе, „не наложи император своего вето“ (стр. 93). Эта тенденция доказать миролюбие Фотия и Николая I расходится с теми фактами, которые приводит сам автор. Уже в 862 г. обнаружилась заинтересованность папы в принятии христианства Болгарией. Он ведет об этом переговоры с византийским послом, патриkiem Львом; послу было дано понять, что уступка болгарской церкви римскому престолу и явится „ценой, ожидаемой папой за новый пересмотр дела Фотия и Игнатия“ (стр. 96). Фотий же не думал отказываться от Болгарии (как, по всей вероятности, не думал отказываться и от Иллирика). Когда все попытки добиться уступок от Фотия оказались тщетными, папа созвал собор итальянских епископов (апрель 863 г.), на котором Фотий был отлучен от церкви, якобы за незаконный захват патриаршего престола. Несмотря на то, что Ф. Дворник сам указывает на эти факты, он считает возможным изложить причину разрыва 863 г. следующим образом: „Страдания Игнатия, рассказанные папе Николаю, довели до слез этого святого человека, настоящего защитника церкви и всех обездоленных“ (стр. 108). Ничего, кроме иезуитского ханжества, не кроется за этими „лирическими“ отступлениями, так же как и за дальнейшими попытками изобразить папу бескорыстным политиком: „Какими бы мотивами ни руководствовался Николай, нет впечатления, что он лелеет надежду на возвращение Болгарии“, — пишет автор на стр. 111. Насколько лицемерны эти выводы, явствует из того, что папа весьма активно боролся против посылки франкских миссионеров в Болгарию. Когда в 866 г. князь Борис обратился в Рим с просьбой прислать епископа и ответить на ряд вопросов церковного порядка, Николай I своими *Responsa ad consulta Vulgarorum* дал свидетельство своей заинтересованности в установлении влияния папского престола в Болгарии. Более того, вскоре он направляет письмо Фотию с ультимативным требованием освободить патриарший престол в пользу его „законного“ владельца — Игнатия. Болгарский „интерес“, таким образом, продолжает определять отношения обеих церквей. Фотий не остался в долгу; в письме Борису он декларативно утверждает примат константинопольского патриарха. И автор безуспешно старается отрицать политическое значение борьбы за Болгарию, утверждая, что Фотий, подчеркивая значение константинопольской церкви, пытался произвести наиболее благоприятное впечатление на Бориса (стр. 127).

В 867 г. в Константинополе был созван собор, на котором Николай I заочно судили, объявили низложенным и предали проклятию. Это и было актом „первой схизмы“ Фотия. Освещение этого события должно было быть своего рода тяжким испытанием для Ф. Дворника, принимая во внимание наметившуюся тенденцию его исследования. Автор

¹ К. Маркс. Хронологические выписки. Архив Маркса и Энгельса, т. V, стр. 41.

прежде всего пытается отрицать широкое политическое значение разрыва между церквями. „Принято считать, что собор в 867 г. выступает... против принципа верховенства Рима... Я настаиваю на том, что энциклика Фотия упоминала только так называемых епископов, проповедующих в Болгарии“ (стр. 122). Далее: „В актах собора 867 г. нельзя найти ничего другого, кроме критики поведения папы. Это так же мало относится к отрицанию супрематии папы, как и критика личного поведения Александра VI“ (там же). Короче, автор отказывается придавать действиям Фотия в 867 г. смысл политического выступления против Рима и его притязаний и сводит церковно-политический кризис IX в. к личной борьбе двух первосвященников. Хотя автор всячески старается преуменьшить значение схизмы 867 г., он все же не может вовсе отрицать этот исторический факт. Он называет схизму „несчастливым поступком“, „отчаянным поступком Фотия“, „подвергшим опасности все христианство“ (стр. 130). Эти lamentации могут иметь одно объяснение. Факт разрыва 867 г. мешает автору последовательно провести мысль о неизменности крепких уз между обеими церквями, необходимую ему для „обоснования“ его тенденциозных выводов.

Но если Ф. Дворник скрепя сердце допускает схизму 867 г., он категорически отрицает так называемую „вторую схизму Фотия“.

Деятельности Фотия в годы его второго патриаршества посвящена важная глава работы: „Второй раскол Фотия. Историческая мистификация“. Уже из заглавия явствует, что автор намерен пересмотреть старое представление о том, что Фотий и вторично явился виновником церковного раскола. В исторической литературе (И. Гергенрёттер) было принято мнение, что „вторая схизма“ Фотия была осуществлена им на соборе 879 г. Ф. Дворник порывает с этим взглядом. Цель его — доказать, что собор 879 г. не выносил никакого решения о разрыве с Римом, и он доказывает это на материале латинских источников, используя данные о том, как реагировала римская церковь на собор 879 г. Автор опровергает старое представление, будто бы после этого собора Фотий сам был подвергнут отлучению римской церковью. Он подвергает обстоятельному анализу сборник латинских антифотиевых документов, именуемый им *Collectio*, и ему действительно удается доказать, что большинство этих документов является фальшивкой, „собственной стряпней (cooking) составителей *Collectio*“ (стр. 236). Но сделав это разоблачение, звучащее тем более красноречиво, что оно принадлежит католическому ученому, автор в описании дальнейших событий по-прежнему извращает факты. Он утверждает, что папа Иоанн VIII „соглашается аннулировать все антифотиевы решения, принятые его предшественниками (папами Николаем I, Марином) и собором 869—870 г., и санкционирует все акты собора, привезенные ему легатами“ (стр. 238). Он пишет, что Фотий в ответ на выражение такого миролюбия идет всецело навстречу папским пожеланиям. Ссылаясь на книгу Ж. Гё (J. G. u. L'Italie Méridionale et l'Empire Byzantin, Paris, 1901), автор утверждает, что Болгария, якобы добровольно „уступленная“ Константинополем, переходит под власть римского папы. Все это дает автору возможность заявить, что „стремление к действительному и постоянному согласию было искренним и у папы Иоанна VIII, и у Фотия“ (стр. 212). В этом и заключается то новое освещение, которое вносит автор и которое „обычно ускользает от исследователей“ (там же).

Трудно судить, была ли Болгария действительно подчинена Риму в церковном отношении, ибо она через несколько лет добилась церковной независимости, а затем и собственной патриархии. Важно

выяснить другое. Почему курия сравнительно легко приняла решения собора 879 г., безусловно направленные против римских интересов? Внимательно следя за ходом событий, которые излагает сам автор, можно найти объяснение этому. Оказывается, папа Иоанн VIII испытывал острую нужду в византийских войсках, сражавшихся против арабов в Южной Италии. Такова истинная причина „постоянного“ миролюбия Рима. Выводы же, которые пытается отсюда сделать автор, весьма характерны для общей направленности его книги. Временный маневр римской курии он изображает ее постоянной тенденцией, рисуя экспансионистскую политику Рима как политику мира и согласия. Иными словами, автор берет на себя задачу реабилитировать римскую церковь периода формирования ее политических и территориальных притязаний. „Второй раскол Фотия, считающийся таким роковым для дружественных отношений между церквями, принадлежит к области легенды“ (стр. 236), — к такому выводу приходит автор в конце первой части своей книги. Возникновение и развитие этой легенды Ф. Дворник рассматривает во второй части книги — „Легенда“.

Это, безусловно, поучительный раздел. Пытаясь выполнить свою задачу, автор волей-неволей раскрывает приемы, при помощи которых изготовлялись каноны католицизма. Нельзя доверять показаниям римских церковных историков X в., говорит он. Не сообщает правды ни монах Эрхемперт в истории беневентских лангобардов, ни автор „Anselmo Dedicata“. Но не они, продолжает автор, несут ответственность за то, что искаженные сведения о борьбе Фотия с игнатианами и Римом выросли в легенду о фотиевом расколе. Причина этого кроется в огромном престиже, которым пользовался в Средние века папа Николай I, „великий предшественник Григория VII“. Иными словами, вопрос о „схизме“ родился лишь в период борьбы папства с империей. Бонизо Сутрийский, сподвижник Григория VII, объявил, что папы всегда обладали правом отлучать монархов, приводя в пример „отлучение“ Михаила III. История с „отлучением“ Михаила III — чистый вымысел, но этой фальшивкой Бонизо, как признает автор, „ввел традицию в Средние века“. Особенное же внимание в эпоху борьбы за инвеституру привлек 22-й канон собора 869 г., отлучившего Фотия; этот канон запрещал возведение в епископы из мирян. Вопрос о соборе 869 г., а вместе с ним и весь вопрос о Фотии, „неожиданно занял видное место в литературе этого периода“. Папство, выступающее с притязаниями на мировое господство, использовало церковные раздоры полуторавековой давности для обоснования собственных требований. И здесь „реформаторы времени Григория VII добивались успеха с усердием, которое заставило их исказить факты в угоду полемическим (читай: политическим!) целям“ (стр. 295). В справедливости этого вывода автору нельзя отказать. Вопросу о канонизации, признании „вселенским“ собора 869 г., содержащего 22-й канон, посвящена отдельная глава. Автор приводит многочисленные документы IX—XI вв., свидетельствующие, что собор 869 г. не считался „вселенским“. И вдруг в начале XII в. он оказывается таковым. Что же произошло? Канонисты папской курии „открыли вселенский собор 869 г. вместе со знаменитым 22-м каноном“ (стр. 320). Вина Фотия в создании раскола не была доказана в XII в. Об этом говорят историки (Ив Шартрский, кардинал Деуседит и др.). Официально актами „освященного“ вселенского собора Фотий был признан „схизматиком“, и это обстоятельство и сыграло значительную роль „в возникновении того, что мы на Западе называем легендой о Фотии“ (стр. 330).

В XVI в. угасший было интерес к этой, казалось бы, далекой схизме внезапно вспыхивает вновь в связи с Реформацией. В своих выступлениях вожди протестантов используют пример фотианских споров как образец борьбы, которая шестьсот лет назад велась против „преступлений“ папства („Магдебургские Centuriae“). В ответ на эти выступления в 1602 г. появился труд кардинала Барония — „Анналы“. Бароний использовал значительное для того времени количество источников, в том числе письма самого Фотия, Скилицу, Глику, и его „Анналы“ приобрели в католической традиции репутацию наиболее аргументированного труда о Фотии. Весь свой кардинальский и „ученый“ авторитет автор обрушивает на Фотия. Последний в его изображении — глава схизматиков, еретиков, даже язычников... Мнение, установившееся в западной исторической литературе после Барония, по существу уже не пересматривалось никем.

Ф. Дворник отрицательно относится к книге Барония. Он отмечает, что она появилась со специальными целями: „его долгом было защитить авторитет верховных первосвященников от ожесточенных нападок протестантов“, поэтому книга его и искажает факты. Если вследствие политических притязаний папства в XI в. возникает искаженная легенда о Фотии, то свое завершение она получает в период контрреформации, окончательно превратившись в фальшивку. Так, принявшись за реабилитацию Фотия, римский епископ против своей воли разоблачает католическую кухню лжи и фальсификации истории.

Всю книгу Ф. Дворника от начала до конца пронизывает стремление реабилитировать Фотия, стремление доказать, что Фотий руководствовался лишь одним желанием — сохранить мир в церкви. Предвзятость этого вывода обусловлена политическими тенденциями автора, на которых мы остановимся ниже, но уже и здесь необходимо отметить, что Ф. Дворник прямо искажает исторические факты. На самом деле, Фотий не был миротворцем: это можно явственно видеть из тех многочисленных фактов, которые собрал автор и которые он так тенденциозно пытается истолковать. Напротив, в отказе подчиниться папскому диктату вскоре после избрания, в прямом разрыве 867 г., в упорном стремлении добиться своих целей в годы второго патриаршества видно стремление вести свой собственный курс, независимо и вразрез с папской политикой. Важно то, что подобный характер поведения патриарха диктовался не отвлеченными церковными интересами, а вполне реальными притязаниями византийского правительства на славянские земли. В этих странах политика константинопольской патриархии была откровенно экспансионистской, и на заседаниях собора 879—880 г. сторонники Фотия — Прокопий Кесарийский и Григорий Эфесский — открыто призывали к захвату новых земель, к восстановлению Римской империи в прежних пределах.¹ Миссии в славянские страны были для Фотия лишь средством подчинения соседних стран, а его усилия закрепить влияние Византии в одном из крупнейших славянских государств — Болгарии рисуют лицо этого политика.

Ф. Дворник не отрицает факта активного вмешательства Фотия в дела соседних народов. Более того, в том, как Ф. Дворник относится к политике Фотия в этом направлении, явственно отражаются взгляды этого представителя воинствующего католицизма. Он прямо ставит Фотию в заслугу его экспансию в славянских государствах. По его

¹ М. А. Заборов. „Византийский Временник“ в 1949 и 1950 годах. „Вопросы истории“, 1951, № 4, стр. 115.

мнению, Фотий был выдающимся деятелем своей эпохи именно потому, что он взял на себя „великую миссию“ христианизации славянства, и тем самым якобы определил всю дальнейшую историю славянства.

Откровенная апология папства в книге Ф. Дворника заставляет автора делать самые фантастические выводы. Так, известное письмо папы Николая I от сентября 865 г. с требованием уступки Болгарии и с притязанием на власть *super omnem terram, id est super omnem ecclesiam* неожиданно понимается как „первый шаг к почетной и мирной ликвидации всего конфликта“ (!) (стр. 109). Откровенным мракобесием дышат заявления о „гордой борьбе пап за свободу“ (!?) в XI в., возглавляемой „благородной фигурой Григория VII“.

Преследуя цель затушевать значение схизмы, автор усиленно выдвигает на первый план внутреннюю борьбу в восточной церкви. И здесь автор реабилитирует Фотия. Именно игнатиане, по его мнению, разжигают борьбу Рима с Фотием, доводят папу Николая I до разрыва с Византией; продолжая бороться с Фотием, когда тот уже помирился с Римом, они, в изображении Ф. Дворника, оказываются виновниками раскола, и неудивительно, что именно деятельность игнатиан именуется в конце книги „схизмой“ (стр. 275).

Совершенно антинаучными являются попытки автора установить связи между расколом IX в. и предшествующими церковными и политическими движениями. Он находит связь между борьбой сторонников и противников принципа „*οὐκ οὐνοκρατία*“ (подчинение церкви государству в IX в.) и иконоборчеством, монофизитством и борьбой партий цирка. Он даже видит аналогию между действиями Фотия, боровшегося против игнатиан-студитов, и борьбой императоров-иконоборцев. При этом автор ограничивается лишь выяснением внешнего сходства фотианских споров и иконоборчества, — он далек от мысли о различии исторических эпох, обусловивших разное содержание движений. В беспомощных попытках автора найти сколько-нибудь удовлетворительное объяснение церковного раскола IX в. отчетливо проявляется глубокий упадок современной буржуазной исторической науки.

Книга Ф. Дворника — это попытка реабилитации Фотия, ее задача — доказать, что схизмы не было, что Фотий не был враждебен римской церкви, что в отношениях обеих церквей всегда преобладали не рознь и раскол, а миролюбие и единение, неизменно покупавшиеся ценой уступок со стороны восточной церкви. И когда позднее, при Михаиле Керуларии, разрыв между обеими церквями действительно произошел, этот разрыв был встречен отрицательно даже в среде византийского клира (стр. 394). По мысли Ф. Дворника, христианству свойственно единство, характеризовавшее отношения между Западом и Востоком и не исчезающее в критические периоды их истории.

При всей ее мнимой объективности книга Ф. Дворника несет в себе определенную политическую тенденцию. Пересмотр взглядов на Фотия, начатый Дворником еще в 30-х годах, завершается им в послевоенные годы, в период возросшей активности католицизма. Тезис об „исторических корнях“ единения католицизма и православия используется в качестве одного из средств воздействия на широкие массы трудящихся-католиков. Он служит тем же глубоко реакционным и антинародным целям, что и обветшалый „лозунг“ о необходимости сплочения христианского мира перед лицом „безбожного большевизма“.

Такова истинная цель книги Франтишека Дворника.